

ДИН КУНЦ

*Tranquility Motel*

# ЧУЖИЕ



Литературное чудо... Гобелен, сотканный из интриги  
и постоянной атмосферы тревоги.

*The Boston Globe*

The Big Book. Дин Кунц

Дин Кунц

**Чужие**

«Азбука-Аттикус»

1986

УДК 821.111(73)  
ББК 84(7Сое)-44

**Кунц Д. Р.**

Чужие / Д. Р. Кунц — «Азбука-Аттикус», 1986 — (The Big Book. Дин Кунц)

ISBN 978-5-389-20347-1

США. Недавнее прошлое. Несколько человек в разных местах страны страдают от необъяснимых недугов: Доминик, писатель, – от лунатизма, Джинджер, врач в больнице при Колумбийском университете, – от кратких отключений сознания, священник Брендан теряет веру – правда, взамен обретает дар целительства, Эрни, в прошлом морпех, прошедший Вьетнам, поражен боязнью темноты. Всех их объединяет одно: прошлым летом все они останавливались в мотеле «Транквилити», штат Невада. Там-то и начались все их личные неприятности. Похоже, кто-то сознательно вычистил из их памяти события, в которых они участвовали...

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-389-20347-1

© Кунц Д. Р., 1986  
© Азбука-Аттикус, 1986

# Содержание

Часть первая. Смутное время	6
Глава 1	6
1	6
2	8
3	17
4	22
5	25
6	30
7	33
Глава 2	41
1	41
2	47
3	55
4	62
5	66
6	68
7	73
8	78
9	81
10	84
11	88
Глава 3	93
1	93
2	94
3	102
4	107
Конец ознакомительного фрагмента.	109

# Дин Кунц Чужие

© Г. А. Крылов, перевод, 2021

© Издание на русском языке, Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство АЗБУКА®

\* \* \*

*Бобу Таннеру, чей энтузиазм на решающем этапе был важнее, чем он мог себе представить*

## Часть первая. Смутное время

*В беде преданный друг – сильная защита.*

*Преданный друг – лекарство жизни.*

**Апокриф**

*Страшная тьма опустилась на нас, но мы не должны ей сдаваться. Мы поднимем светильники мужества и найдем путь к свету.*

**Неизвестный деятель французского Сопротивления, 1943**

### Глава 1

**7 ноября – 2 декабря**

#### 1

***Лагуна-Бич, Калифорния***

Доминик Корвейсис уснул под легким шерстяным одеялом на крахмаленной белой простыне, раскинувшись в одиночестве на своей постели, проснулся же в другом месте – в темноте, в гардеробной, в большом шкафу с куртками и пальто. Он лежал, свернувшись в позу эмбриона. Руки сжались в плотные кулаки. Мышцы рук и шеи ныли от напряжения после дурного сна, впрочем сам сон Доминик уже позабыл.

Он не помнил, как покинул ночью свое удобное лежище, но не удивился, обнаружив, что проделал немалый путь в темноте. Такое уже случалось с ним пару раз, и совсем недавно.

Сомнамбулизм – обычно его называют лунатизмом – потенциально опасен, и во все времена он завораживал и притягивал людей. Доминик тоже был заморожен им – сразу же после того, как стал его жертвой. Он нашел упоминания о лунатизме в старинных рукописях, датированных 1000 годом до нашей эры. Древние персы верили, что блуждающее тело сомнамбулы ищет свою душу, которая отделилась от него и витает где-то в ночи. Европейцы мрачного Средневековья предпочитали объяснять сомнамбулизм одержимостью дьяволом или ликантропией – способностью превращаться в волка.

Доминика Корвейсиса лунатизм не очень-то беспокоил – разве что слегка расстраивал и смущал. Доминик был писателем, и его занимали эти ночные странствия, потому что любой новый опыт он рассматривал как источник творчества.

Имея возможность с выгодой использовать сомнамбулизм для своего писательства, он все же понимал, что это болезнь. Он выбрался из шкафа, морщась от боли в шее – боли, которая уползала вверх, в голову, и вниз, в плечи. На ноги он встал с трудом: их свело.

Как всегда, он почувствовал смущение. Он знал, что сомнамбулизм – это такое состояние, которому подвержены все, и дети и взрослые, но продолжал считать его детской проблемой. Примерно как энурез.

В пижамных штанах, босой, с голым торсом, он прошаркал через гостиную, по короткому коридору – в спальню и потом в ванную. В зеркале он выглядел потасканным распутником, вынырнувшим на поверхность после недели бесстыдного погружения в бездну самых грязных пороков.

Вообще-то, он был практически непорочен. Не курил, не обжирался, наркотиками не баловался. Пил мало. Любил женщин, но не был неразборчивым в связях, верил в преданность,

когда дело касалось интимных отношений. Да что говорить, и женщин у него не было – уже сколько времени? Четыре месяца, что ли?

Выглядел он плохо – потасканный, измочаленный, во всяком случае, когда просыпался и наблюдал последствия незапланированного ночного похода к эрзац-постели. И каждый раз чувствовал себя хуже некуда. На прогулках он ходил сонный – какой там отдых.

Он сел на край ванны, согнул левую ногу, обследовал подошву, потом проделал то же самое с правой ногой. Ни порезов, ни царапин, ни грязи, значит во сне он не выходил из дому. Он уже дважды просыпался в гардеробной – на прошлой неделе и за двенадцать дней до этого последнего случая. Как и раньше, ощущение было такое, будто он преодолел в бессознательном состоянии многие мили, – но если и так, он всего лишь блуждал по своему маленькому дому.

Долгий горячий душ ослабил напряжение мышц. Он снова был в хорошей форме, тридцатипятилетним, то есть соответствовал своему возрасту. Позавтракав, он почувствовал себя почти человеком.

Доминик неторопливо выпил чашку кофе во внутреннем дворике, разглядывая красоты Лагуна-Бич с ее террасами, нисходящими к морю, потом отправился в кабинет, уверенный, что причиной его лунатизма была работа. Даже не столько сама работа, сколько поразительный успех его дебютного романа «Сумерки в Вавилоне», который он закончил в феврале прошлого года.

Агент, к которому он обратился, выставил «Сумерки» на аукцион, и, к удивлению Доминика, состоялась сделка с издательством «Рэндом-хаус», которое заплатило очень крупный аванс за первый роман начинающего писателя. Через месяц были проданы права на постановку фильма (он смог выплатить задаток за дом), а Литературная гильдия поставила «Сумерки» на ведущее место в своем рейтинге. Он семь месяцев писал эту книгу, не зная ни сна, ни отдыха, работал по шестьдесят, семьдесят, восемьдесят часов в неделю, не говоря уже о десяти годах, которые ушли на подготовку к работе, но все еще чувствовал себя так, будто в одночасье добился успеха и одним безумным прыжком вырвался из постылой бедности.

Порой бедняк Доминик Корвейсис поглядывал из прошлого на нынешнего богатенького себя, на свое отражение в зеркале или в позолоченном солнцем окне, видел себя сегодняшним и недоумевал: неужели он и в самом деле заслуживает все это – все, что свалилось на него? Не ведет ли этот путь к пропасти? Вместе с триумфом и популярностью пришло и безумное напряжение нервов.

Хорошо ли примет «Сумерки» публика, когда роман выйдет в феврале будущего года, оправдаются ли вложения «Рэндом-хауса», или книга провалится и все закончится крахом? Сможет ли он написать еще что-нибудь, или «Сумерки» были случайной удачей?

Днем, когда он не спал, эти и другие вопросы атаковали его мозг с настойчивостью хищного зверя, и он полагал, что те же проклятые вопросы не дают ему покоя и во сне. Поэтому он и ходил ночами: пытался убежать от снедающих его забот, искал укромное место для отдыха, где тревоги не смогут его достать.

Он включил электронную пишущую машинку IBM Displaywriter и нашел восемнадцатую главу своей новой книги, у которой еще не было названия. Вчера он остановился на половине шестой страницы этой главы, но, когда открыл документ, увидел, что страница дописана до конца. На мониторе светились незнакомые строчки, выделенные зеленым.

Он глуповато моргнул, глядя на аккуратные светящиеся буквы, потом тряхнул головой в бессмысленном отрицании реальности.

Затылок его повлажнел от пота.

Ужасно было не то, что он видел строки, которых не помнил; испугало его другое – смысл, вложенный в эти строки. Более того, у главы не должно было быть седьмой страницы, Доминик даже не начинал ее. А она была. И восьмая тоже.

Он принялся прокручивать текст на экране, руки его стали липкими. Пугающим дополнением к его работе была фраза, состоявшая всего из двух слов, но повторялась она бесконечно: «Мне страшно. Мне страшно. Мне страшно. Мне страшно».

Двойной пробел. Четвертной отступ. Четыре предложения в строке, тринадцать строк на шестой странице, двадцать семь строк на седьмой, еще двадцать семь на восьмой: фраза повторялась 268 раз. Машинка не создала ее сама по себе, будучи всего лишь рабом, который выполнял поставленную перед ним задачу. Глупо думать, будто кто-то проник ночью в дом, чтобы испортить его электронный текст. Никаких признаков взлома не было, и Доминик не представлял, кто мог бы так над ним подшутить. Видимо, он сам включил машинку во сне и как одержимый напечатал это предложение 268 раз, хотя в памяти об этом ничего не осталось.

«Мне страшно».

Чего ты боишься – того, что ходишь во сне? Да, лунатизм выбивает из колеи – утром, по крайней мере, – но это не такое уж испытание, чтобы реагировать на него так ужасно.

Доминика пугала быстрота его литературного взлета и возможность такого же быстрого падения назад, в пустоту. И он никак не мог прогнать мучительную мысль о том, что происходящее с ним не имеет никакого отношения к его карьере, что угроза, нависшая над ним, – это нечто совершенно иное, нечто необычное, нечто такое, чего его рассудок еще не понимает, но подсознание уже восприняло и пытается сообщить ему об этом посланием, которое он написал во сне.

Нет. Чепуха. Всего лишь работа слишком активного писательского воображения. Работа. Вот лучшее лекарство.

К тому же, почитав о лунатизме, он выяснил, что большинство взрослых сомнамбул впадают в это состояние ненадолго. Лишь немногие пережили больше полудюжины эпизодов, и обычно на протяжении не более полугода. Очень высока вероятность, что сон его больше не будут беспокоить ночные хождения и он не проснется, съездившись, в глубине шкафа.

Он стер с дискеты слова, появившиеся неясно откуда, и продолжил работать над восемнадцатой главой.

Когда он проверил время, то с удивлением обнаружил, что стрелки перевалили за час и он пропустил ланч.

Начало ноября в Южной Калифорнии всегда мягкое, но в нынешнем году дни стояли необычайно теплые, поэтому он поел во внутреннем дворике. Пальмовые листья шуршали на ветерке, воздух был напоен ароматом осенних цветов. Лагуна величественно и грациозно спускалась к Тихому океану, он весь был в солнечных бликах.

Допив колу, он запрокинул голову, посмотрел прямо в ярко-голубое небо и рассмеялся.

«Видишь, никаких падающих сейфов. Никаких летящих на тебя роялей. Никаких дамочловых мечей».

Было 7 ноября.

## 2

### *Бостон, Массачусетс*

Доктор Джинджер Мари Вайс никак не ожидала, что столкнется с неприятностями в кулинарной лавке Бернстайна, но именно там все и началось – с инцидента с черными перчатками.

Обычно Джинджер могла справиться с любыми проблемами, встававшими перед ней. Она радовалась каждому вызову, брошенному ей жизнью, трудности только закаляли ее. Она заскучала бы, будь ее жизнь легкой и гладкой. Ей и в голову не приходило, что она может когда-нибудь столкнуться с проблемой, решить которую будет не в силах.

Жизнь не только бросает вызовы, но и преподает уроки, и некоторые из них особенно важны. Одни уроки легки, другие трудны.

Некоторые из них разрушительны.

Джинджер была умна, хороша собой, честолюбива, неутомима в работе, прекрасно готовила, но главное ее преимущество состояло в том, что при первой встрече ее никто не воспринимал всерьез. Она была стройная, как стрекозка, – изящное воздушное существо, казавшееся столько же непрактичным, сколь и прекрасным. Большинство людей недооценивали ее подолгу, лишь постепенно осознавая, какая она сильная личность – как конкурент, коллега или противник.

История о разбойном нападении на Джинджер стала легендой больницы при нью-йоркском Колумбийском университете, где она за четыре года до случая в лавке Бернштейна проходила интернатуру. Как и все интерны, Джинджер нередко отработывала по шестнадцать часов, а то и больше, день за днем, – и когда выходила из больницы, ей едва хватало сил дотащиться до дому. В один жаркий и влажный субботний вечер – стоял июль, – после нескольких особенно изматывающих смен, она отправилась домой в начале одиннадцатого, и на нее напал здоровенный неандерталец с огромными, как лопаты, руками, без шеи, с покатым лбом.

– Попробуй только пискнуть, – сказал он, возникнув из ниоткуда, как черт из табакерки, – и я тебе зубы вышибу. – Он схватил ее руку и заломил за спину. – Поняла, сука?

Пешеходов поблизости не было, ближайшие машины остановились в двух кварталах, на светофоре. Помощи ждать неоткуда.

Он затолкал ее в узкий, полный мусора, почти неосвещенный проезд между домами. Джинджер ударилась о помойный бачок, ушибла колено и плечо, споткнулась, но не упала. Ее опеленали многорукие тени.

Всхлипывая и задыхаясь, она заставила нападавшего почувствовать себя увереннее, потому что сначала подумала, что у него есть пистолет.

«Потакай бандиту, – говорила она себе. – Не сопротивляйся. Иначе пристрелит».

Ближе к концу проезда он прижал ее к расположенной в углублении двери, неподалеку от единственной тусклой лампочки, и принялся сыпать грязными словами, объясняя, что сделает с ней, когда отберет деньги. И тут она, несмотря на слабое освещение, сумела разглядеть, что оружия у него нет. У Джинджер появилась надежда. От его непристойных слов кровь стыла в жилах, но поток сексуальных угроз был таким скудным и однообразным, что вызывал чуть ли не смех. Джинджер поняла, что имеет дело с тупым недоумком, который для получения желаемого надеется только на свою массу, кулаки и размеры тела. Люди, ему подобные, редко носят оружие. Мышцы давали ему ложное ощущение непобедимости, а это означало, что в драке он был явный профан.

Джинджер без всякого сопротивления отдала ему сумочку, которую грабитель тут же принялся потрошить, и, собрав все свое мужество, что есть силы ударила его ногой в пах. От удара тот переломился пополам. Она быстро схватила руку подонка и принялась безжалостно заламывать его указательный палец, пока боль не стала совсем уж невыносимой.

Когда такое проделываешь с указательным пальцем – жестко и беспощадно, – это быстро выводит из строя любого человека, независимо от силы и габаритов. Натянулись пальцевые ответвления срединного нерва его руки, одновременно воздействуя на высокочувствительные нервы задней части, срединный и лучевой. Скоро жуткая боль достигла шеи преступника, пройдя по акромиальным нервам плеча.

Свободной рукой он схватил ее за волосы и потащил. Ответная атака заставила Джинджер вскрикнуть, в глазах помутилось, но она сжала зубы, стерпела и заломила палец своего пленника еще больше. Страшная боль лишила его мыслей о сопротивлении. Слезы покатались из глаз, и он упал на колени, беспомощно визжа и бранясь:

– Отпусти меня! Отпусти, гадина!

Выморгав слезы из глаз – такая же соленая влага скопилась в уголках рта, – Джинджер обеими руками ухватила его заломленный палец и, осторожно пятясь, вывела налетчика из проезда. Двигался он с трудом, опираясь на колени и руку, – она тащила его, как бешеную собаку на поводке.

Перебирая конечностями, сдирая кожу, перемещаясь неуклюжими рывками, он смотрел на нее глазами, помутневшими от смертоубийственной ярости. Отвратительное, тупое лицо стало менее различимо, когда они удалились от источника света, но Джинджер видела, как оно искажено болью, яростью, унижением и из человеческого превратилось в гоблинское. Пронзительным, опять же гоблинским голосом он извергал чудовищные проклятия.

Когда они таким же манером проползли ярдов пятнадцать по проезду, страшная боль в руке и от удара в пах совершенно измотали его. Он кашлял, задыхался, всего себя заблевал.

Но она его отпускать не стала. Теперь, при малейшей возможности, он не только изобьет ее до полусмерти, он убьет ее. Охваченная ужасом и брезгливостью, она тащила грабителя все упорнее.

Добравшись из проезда до улицы с облеваным грабителем на буксире, она не увидела ни одного пешехода, который мог бы вызвать полицию, и дотащила присмирившего бандита до середины трассы, вынудив проезжающие машины остановиться при виде такого редкого зрелища.

Облегчение, которое испытала Джинджер после приезда полиции, не шло ни в какое сравнение с облегчением головореза, напавшего на нее.

Часто люди недооценивали Джинджер, потому что она была маленькой: рост пять футов и два дюйма. Весила она сто два фунта – ничего особенного, тем более утрашающего. Точно так же, хотя она и была стройна, совсем не походила на сногшибательную блондинку. Блондинкой она, впрочем, была, притом особенной, серебристый цвет ее волос притягивал взгляды мужчин – не важно, видели они ее в первый раз или в сотый. Даже при ярком солнце ее волосы навевали мысли о лунном свете. Эти небесно-бледные, светящиеся волосы, изящные черты, голубые глаза, излучавшие нежность, шея, как у Одри Хепбёрн, хрупкие плечи, тонкие запястья, длинные пальцы, осиная талия – все создавало обманчивое впечатление незащищенности. Ну и от природы Джинджер была тихой, склонной к созерцательности – качества, которые можно ошибочно принять за робость. Говорила она голосом мягким и музыкальным, и за этой ее сладкозвучностью легко можно было не заметить уверенности в себе и упорства.

Джинджер унаследовала серебристую гриву волос, небесного цвета глаза, красоту и честолюбие от своей матери Анны, шведки ростом пять футов и десять дюймов.

– Золотце ты мое, – сказала Анна, когда Джинджер в девять лет, на два года раньше, окончила шестой класс.

Джинджер училась лучше всех в классе и получила за свои успехи грамоту с золотой каймой. Еще она стала одной из троих, кому доверили развлекательную часть выпускной церемонии, и сыграла на рояле две композиции Моцарта; за этим последовала мелодия в стиле регтайм, заставившая удивленную публику встать.

– Девочка моя золотая, – то и дело повторяла Анна по дороге домой, обнимая дочь.

Джейкоб вел машину, смагивая слезы гордости. Он был человеком эмоциональным, растрогать его не составляло труда. Смущаясь таким частым появлением влаги у себя на лице, он пытался скрывать свои чувства, объясняя слезы и покраснение глаз аллергией, которую у него никогда не диагностировали.

– Похоже, в этом году какая-то специфическая пыльца, – сказал он дважды по пути домой после выпускного вечера. – Очень раздражающая пыльца.

– В тебе все сошлось, бубеле<sup>1</sup>, – сказала Анна. – Мои лучшие свойства и лучшие качества твоего отца. Тебя ждет успех, бог свидетель, подожди – скоро сама увидишь. Окончишь среднюю школу, потом поступишь в колледж, потом, может быть, в юридический или медицинский – все, что пожелаешь. Что угодно.

Родители Джинджер были единственными, кто оценивал ее так, как следует.

Они свернули на подъездную дорожку, и Джейкоб, не доезжая до гаража, спросил удивленно:

– Что это мы? Наш единственный ребенок оканчивает шестой класс, наша дочка, которая думает, что ей все доступно и она может выйти замуж за короля Сиам и поехать на жирафе на луну... И она впервые в жизни надевает шапочку и мантию, а мы не празднуем! Может, махнем на Манхэттен, выпьем шампанского в «Плазе»? Поужинаем в «Уолдорфе»? Нет. Нужно что-нибудь помасштабнее. Если космонавт на жирафе, что для него самое-самое? Едем к «Уолгрину», где лимонадный фонтанчик!

– Да, – сказала Джинджер.

В «Уолгрине» они, похоже, были самой странной семьей, какую здесь когда-либо видели: папа-еврей, ростом с жокея, с немецким именем и лицом сефарда, мама-шведка, восхитительно женственная блондинка, выше мужа дюймов на пять, и ребенок – видение, эльф, миниатюрная, в отличие от мамы, и светленькая, в отличие от черноволосого отца, наделенная красотой, непохожей на материнскую: более утонченной, какой-то сказочной. С детства Джинджер знала: люди, видя ее с родителями, думают, что она – приемыш.

От отца она унаследовала малый рост, мягкий голос, кротость и гибкий ум.

Она любила их обоих так сильно и беззаветно, что в детстве ей не хватало слов, чтобы передать свои чувства. Даже взрослой она не могла найти выражений, способных показать, что для нее значат родители. Теперь их не было в ее жизни – они оба ушли в ранние могилы.

Анна погибла в автокатастрофе вскоре после того, как Джинджер исполнилось двенадцать. Здравый смысл подсказывал родным Джейкоба, что без шведки (клан Вайсов давно уже перестал считать ее гоем и относился к Анне с уважением и любовью) Джинджер с отцом поплывут вниз по течению. Все знали, как близки были эти трое, более того, все знали, что это Анна вела семью к успеху и процветанию. Именно Анна выбрала наименее честлюбивого из братьев Вайс – мечтателя Джейкоба, кротчайшего Джейкоба, который вечно сидел, уткнувшись в какой-нибудь детектив или научно-фантастический роман, и слепила из него то, чем он стал в результате. Когда она вышла за него, Джейкоб прислуживал в ювелирном магазине; когда она погибла, Джейкоб владел двумя магазинами.

После похорон семья собралась в большом доме тети Рейчел в Бруклин-Хейтсе. Как только ей удавалось ускользнуть от близких, Джинджер находила утешение в темном уединении кладовки. Она садилась на табурет и, вдыхая запахи пряностей, молилась Богу, чтобы Он вернул ей маму. Тетя Франсина разговаривала с Рейчел на кухне. Фран горевала, предвидя мрачное будущее, ожидающее Джейкоба и его маленькую девочку в мире без Анны.

– Он не справится с бизнесом, ты же понимаешь, наверняка не справится, даже когда вся печаль уйдет и он вернется к работе. Бедняга, он такой неприспособленный. Анна была его голосом разума, его лучшим советчиком, без нее он пропадет лет через пять.

Они недооценивали Джинджер.

Справедливости ради нужно сказать, что Джинджер было всего двенадцать, и, хотя она уже училась в десятом классе, большинство людей видели в ней ребенка. Никто и подумать не мог, что она так скоро заменит Анну. Джинджер разделяла материнскую любовь кстряпне, после похорон несколько недель листала кулинарные книги и с удивительным прилежанием и терпением – этими своими особенными качествами – приобрела те кулинарные навыки, кото-

---

<sup>1</sup> Бубеле – детка, дорогая (идиши).

рых прежде не имела. Когда родственники пришли к ним на обед в первый раз после смерти Анны, они глазам своим не поверили. Домашние картофельные хлебцы, сырны калачи. Овощной суп с плавающими в нем пышными клецками из говядины и сыра. Форшмак на закуску. Тушеная телятина со стручковым перцем, цимес со сливами и с картошкой, котлеты, жаренные на жире и поданные в томатном соусе. На десерт – печеный персиковый пудинг и яблочный пирог. Франсина и Рейчел решили, что Джейкоб прячет у себя на кухне новую кухарку, и не поверили, когда он показал на дочку. Джинджер не считала, что совершила нечто выдающееся. Семье требовалась кухарка, и она сделалась ею.

Забота об отце стала для Джинджер главным делом, и она взялась за это страстно и горячо. Она быстро и хорошо убиралась в доме – так основательно, что ее труд проходил даже тайную проверку на пыль и грязь, устраиваемую тетушкой Франсиной. Несмотря на свои двенадцать, она научилась планировать бюджет; ей не было и тринадцати, когда она стала вести все счета семьи.

В четырнадцать она, хотя и была на три года моложе своих одноклассников, стала первой в классе. Когда узнали, что ее приглашают несколько университетов сразу, но она выбрала Барнард, все засомневались: не замахнулась ли она в таком нежном возрасте на кусок, который не сможет проглотить?

В Барнард было потруднее, чем в школе, она здесь не обгоняла сверстников, но шла наравне с лучшими; ее средняя успеваемость составляла четыре балла и лишь однажды опустилась до трех целых и восьми десятых – на первом курсе, когда у Джейкоба случился первый приступ панкреатита и она все вечера проводила в больнице.

Джейкоб неплохо держался, когда она стала бакалавром, но, когда Джинджер получила медицинскую степень, выглядел совсем уж больным и немощным. И все же он цеплялся за жизнь в первые полгода ее интернатуры. Но панкреатит вызвал рак поджелудочной железы, и он умер, так и не узнав, что Джинджер, отказавшись от карьеры исследователя, выбрала хирургическую ординатуру в Бостонском Мемориальном госпитале.

С Джейкобом она прожила дольше, чем с Анной, потому и чувства ее к нему были намного глубже, и уход отца стал для Джинджер еще более тяжелым ударом, чем потеря матери. Но она справилась с этой бедой, как справлялась со всеми вызовами, и окончила интернатуру с отличными отзывами и превосходными рекомендациями.

Джинджер отложила вторую интернатуру и уехала в Калифорнию, в Стэнфорд, чтобы освоить уникальную и очень напряженную двухгодичную программу по сосудисто-сердечным патологиям. Потом, после месячного отдыха (самого длинного за всю ее жизнь), она вернулась в Бостон и договорилась о кураторстве с доктором Джорджем Ханнаби, главой хирургического отделения в Мемориальном госпитале, известном своими новаторскими методами в сердечно-сосудистой хирургии. Первые два года новой интернатуры прошли блестяще.

И вот ноябрьским утром, во вторник, она отправилась в кулинарную лавку Бернстайна за покупками, и тут случилось то, что случилось, – вся эта жуть. Человек в черных перчатках. Но это было только началом.

Вообще-то, по вторникам она не работала – если только кто-то из пациентов не был в критическом состоянии, – и в больнице ее не ждали. В первые два месяца в Мемориальном госпитале она, со свойственными ей живостью и энергией, приходила туда даже в свои выходные, – по правде говоря, ей больше нечего было делать. Но Джордж Ханнаби положил этому конец. Он сказал, что врачи постоянно испытывают стресс и обязаны давать себе отдых – и Джинджер Вайс не исключение.

– Если вы слишком быстро выдохнетесь, работая на износ, – сказал он, – будет плохо не только для вас, но и для пациентов.

Поэтому каждый вторник она спала на час дольше обычного, принимала душ, выпивала две чашки кофе, читала на кухне утреннюю газету, глядела в окно, которое выходило на Маунт-Вернон-стрит. В десять часов одевалась, проходила несколько кварталов до кулинарного магазина Бернштейна на Чарльз-стрит, покупала пастроми, солонину, булочки домашней выпечки, простой ржаной хлеб, картофельный салат, блинчики, немного лососины или копченой осетрины, порой – вареники с домашним сыром, чтобы дома их подогреть. Возвращалась домой с пакетом всех этих вкусностей и бесстыдно ела весь день, читая Агату Кристи, Дика Фрэнсиса, Джона Макдональда, Леонарда Элмора и иногда Хайнлайна. Джинджер еще не любила отдых так сильно, как любила работу, но постепенно стала ценить свое свободное время, и вторник перестал быть для нее ненавистным днем, каким был поначалу, когда ей навязали шестидневку.

Тот злосчастный ноябрьский вторник начался замечательно – с серого зимнего неба, прозрачного прохладного утра, свежего, бодрящего и ничуть не морозного, а заведенный порядок привел ее к магазину Бернштейна (набитому покупателями, как обычно) в десять часов двадцать одну минуту ровно. Джинджер прошла вдоль длинного прилавка, заглядывая в шкафчики с выпечкой, рассматривая продукты за стеклом охлаждаемой витрины, выбирая деликатесы с радостью гурмана. Торговый зал был полон божественных запахов и приятных звуков: тесто, корица, смех, чеснок, гвоздика, беглые разговоры, то ли на английском, то ли хрен поймешь на каком – от идиша и бостонского акцента до новейшего рок-н-рольного сленга, – фундук жареный, квашеная капуста, огурчики маринованные, кофе, звяканье столовых приборов. Отоварившись чем хотела, Джинджер оплатила покупки, натянула вязаные перчатки, взяла пакет, прошла мимо столиков, за которыми люди вкушали свой поздний завтрак, и направилась к двери.

Пакет был в левой руке, правой она пыталась засунуть бумажник в сумочку, висевшую на плече. Подходя к дверям, она сосредоточилась на бумажнике, и вот тут-то в магазин вошел человек в пальто из серого твида и черной русской шапке. Он, похоже, был так же рассеян, как Джинджер, и они столкнулись в дверях. В зал ворвалась струя холодного воздуха, Джинджер сделала шаг назад, а мужчина схватил ее пакет с покупками, чтобы тот не упал, и поддержал девушку рукой.

– Извините, – сказал он. – Это я виноват.

– Нет, это я, – ответила Джинджер.

– Задумался.

– Я не смотрела, куда иду.

– Вы как, в порядке?

– В полном. Правда.

Он протянул ей пакет.

Джинджер поблагодарила мужчину, взяла пакет и тут обратила внимание на его перчатки. Черные, явно дорогие. Плотная натуральная кожа высшего качества, едва заметная простежка – ничего, что могло бы объяснить ее мгновенную острую реакцию, ничего странного или угрожающего. И все же она почувствовала угрозу. Угрозу, исходящую от этого человека, внешне совершенно обыкновенного, – бледного, с одутловатым лицом, с добрыми глазами за очками с толстыми линзами и в черепаховой оправе. Перчатки испугали ее – необъяснимо и беспричинно. Дыхание перехватило, а сердце бешено заколотилось.

Самым странным было то, что все предметы и покупатели в магазине начали исчезать, словно были не настоящими, а всего лишь призраками из сна, которые растворяются с пробуждением. Все и всё – и люди, те, что завтракали за столиками, и полки, уставленные консервированной едой, и витрины, и настенные часы с логотипом «Манишевиц», и банки с маринадом, столы и стулья, – казалось, начали мерцать и исчезать в белоснежной дымке, словно откуда-

то из-под пола поднимался туман. И только зловещие перчатки никуда не девались, напротив, они становились все более явственными, чернели и угрожали.

– Мисс? – Голос человека с одутловатым лицом словно шел из дальнего конца бесконечного туннеля.

Рядом с Джинджер гасло и терялось все, что было вокруг, но звуки не прекращались, более того, они делались громче и громче, пока уши ее не заполнили бессвязная трескотня и навязчивый стук приборов, пока звяканье тарелок и тихий писк электронного кассового аппарата не стали громоподобными и невыносимыми.

Она не сводила глаз с кожаных перчаток на руках этого человека.

– Что с вами? – Незнакомец протянул к Джинджер руку, желая то ли поддержать ее, то ли извиниться.

Черные, тугие, блестящие... с едва заметной зернистостью кожи, мелкие аккуратные швы вдоль пальцев... крепко натянутые на костяшках...

Сбитая с толку, потерявшаяся в пространстве, под гнетом необъяснимого страха, Джинджер вдруг поняла, что надо бежать отсюда, иначе она умрет. Не было этому объяснения. Что за опасность ей грозит, Джинджер не понимала. Знала только одно: надо бежать, а не убежишь – смерть.

Сердцебиение, и без того учащенное, стало совсем зашкаливать. Комок в горле, который мешал ей дышать, растаял, Джинджер издала слабый крик и устремилась вперед, словно в погоне за жалким звуком, который вырвался у нее. Она была испугана такой реакцией на перчатки, но не могла объективно судить о ней, смущенная собственным поведением; прижав пакет с продуктами к груди, она протиснулась в дверь мимо мужчины, с которым только что столкнулась, – краем сознания отметив, что чуть не сбита этого человека с ног. Видимо, она рывком распахнула дверь, хотя не помнила, рывком или не рывком, потом оказалась на улице, на свежем ноябрьском воздухе. Движение на Чарльз-стрит: автомобильные гудки, рев двигателей, шипение, вздохи, скрежет покрышек – все это было справа, витрины магазина промелькнули от нее слева: она пустилась бежать.

Она не замечала вокруг себя ничего, мир поблек, исчез, будто его и не было, Джинджер мчалась сквозь безликую серость, ноги работали непрерывно, полы пальто били по ним, она словно летела по искаженному сном пространству, потеряв от страха остатки здравого смысла. На улице она была не одна, люди двигались туда и сюда, она их расталкивала, обегала, не обращала на них внимания. Она знала одно: нужно спастись. И поэтому неслась, как олень, убегающий от преследователя (хотя никто ее не преследовал), губы ее побелели, как бывает, когда человека охватывает ужас (хотя Джинджер не понимала, от какой опасности убегает).

Бежала. Как сумасшедшая. Ослепшая и оглохшая.

Потерянная.

Спустя несколько минут, когда туман рассеялся, Джинджер поняла, что оказалась на Маунт-Вернон-стрит, на полпути до вершины холма. Она прислонилась к чугунным кованым перилам парадной лестницы, ведущей к величественному таунхаусу из красного кирпича, обхватила руками балясины, до боли в костяшках пальцев вцепилась в них, упершись лбом в твердый металл, – так заключенный в отчаянии прижимается к решетке камеры. Пот заливал ее, она хватала ртом воздух. Во рту стояла кислая сушь. В горле жгло, в груди нарастала боль. Джинджер была вне себя, она не могла вспомнить, как оказалась здесь, – словно ее выбросило на неизвестный берег приливными волнами амнезии.

Что-то испугало ее.

Но она не могла вспомнить, что именно.

Постепенно страх уходил, дыхание стало почти нормальным, сердцебиение успокаивалось.

Она подняла голову, поморгала, устало и потрясенно огляделась; зрение, затуманенное слезами, медленно прояснялось. Она увидела голые, черные ветви липы и низкое зловеще-серое ноябрьское небо за контурами деревьев. Мягко светились старинные газовые фонари, приводимые в действие соленоидами, которые ошибочно приняли зимнее утро за наступление сумерек. На вершине холма стоял массачусетский Капитолий, внизу, на пересечении Маунт-Вернон и Чарльз-стрит, двигалась вереница машин.

Кулинария Бернстайна. Да, конечно. Сегодня вторник, она была у Бернстайна, когда... когда что-то случилось?

Что? Что случилось у Бернстайна?

И где ее пакет с продуктами?

Она отпустила металлическую ограду, подняла руки и промокнула глаза синими вязаными перчатками.

Перчатки. Не ее, не эти перчатки. Близорукий человек в русской шапке. Его черные кожаные перчатки. Вот что ее испугало.

Но почему она впала в истерику, почему ее одолел страх при виде перчаток? Что страшного может быть в черных перчатках?

С другой стороны улицы за ней внимательно наблюдала пожилая пара, и Джинджер спросила себя: что она могла сделать, чем привлекла их внимание? Она изо всех сил напрягала память, но не могла вспомнить ровным счетом ничего о том, как взобралась на холм. Последнее три минуты – а может, больше? – превратились в черную яму. Вероятно, она в панике бежала по Маунт-Вернон-стрит. Судя по выражению лиц тех, кто наблюдал за ней, она выставила себя на посмешище.

Джинджер смущенно отвернулась от них и начала неуверенно спускаться по Маунт-Вернон-стрит туда, откуда пришла. Внизу, за углом, она обнаружила свой пакет – тот лежал на краю тротуара. Она постояла над ним несколько секунд, уставившись на помятую коричневую упаковку, пытаясь вспомнить, как его уронила. Но в памяти была одна пустота.

«Что со мной?»

Из пакета что-то посыпалось, но упаковки остались целы, и Джинджер положила покупки назад в пакет.

Встревоженная загадочной потерей контроля над собой и слабостью в коленях, она направилась домой, и на морозном воздухе у нее перехватило дыхание. Сделав несколько шагов, она притормозила. Задумалась. Повернулась и пошла назад, к Бернстайну.

Она остановилась перед входом в кулинарию, и где-то через минуту из двери вышел человек в русской шапке и очках в черепаховой оправе. В руках он держал пакет.

– Ой... – Человек удивленно вздернул брови. – Я забыл извиниться. Вы так быстро убежали... Я собирался, но не успел, простите...

Она посмотрела на его руку в перчатке, державшую коричневый пакет. Мужчина говорил, жестикулируя свободной рукой, и Джинджер следила за тем, как она выводит круги в воздухе. Перчатки больше не пугали ее. Она не могла понять, почему их вид вызвал у нее панику.

– Все в порядке. Я вас ждала, чтобы извиниться. Я испугалась... утро было таким необычным... – Она отвернулась и добавила через плечо: – Хорошего дня!

До квартиры было рукой подать, но дорога домой показалась ей эпическим странствием по бесконечным пространствам серого асфальта.

«Что со мной?»

Ей было очень холодно, и погодой этого ноябрьского дня такое было не объяснить.

Джинджер жила на Бикон-Хилл, на втором этаже четырехэтажного дома, когда-то – в девятнадцатом веке – принадлежавшего какому-то банкиру. Она выбрала это место, потому что ей нравились любовно сохраненные следы времени: причудливая потолочная лепка, розетки над дверями красного дерева, эркерные окна с частыми переплетами, два камина,

один в гостиной, другой в спальне с изысканными мраморными полками, резными и полированными. Комнаты, создающие ощущение стабильности, непрерывности, постоянства...

Джинджер ценила постоянство и стабильность превыше всего – вероятно, из-за того, что в двенадцать лет потеряла мать.

Ее по-прежнему бил озноб, хотя в квартире было тепло, она убрала покупки в хлебницу и холодильник, потом прошла в ванную и внимательно посмотрела на себя в зеркало. Она была очень бледна, и ей не понравился испуганный, затравленный взгляд.

Она спросила у своего отражения:

– Что случилось, шнук?<sup>2</sup> Ты выставила себя настоящей мешуггене<sup>3</sup>. Полная фарфуккет<sup>4</sup>. Почему? А? Ну-ка, доктор, ты же важная шишка, скажи мне. Почему?

Джинджер прислушивалась к своему голосу, отражавшемуся от высокого потолка ванной, и наконец до нее дошло, что она попала в серьезную переделку. Джейкоб, ее отец, был евреем по рождению и воспитанию, гордился этим, но правоверным евреем себя не считал. Он редко бывал в синагоге, отмечал праздники, но по-светски, как многие отпавшие от христианства празднуют Пасху и Рождество. А Джинджер находилась на один шаг дальше от религии Джейкоба, потому что считала себя агностиком. Более того, если еврейство Джейкоба было целостным, наглядно проявлявшимся во всем, что он делал или говорил, то о Джинджер этого нельзя было сказать. Если бы ее попросили дать определение самой себе, она ответила бы: «Женщина, врач, трудоголик, вне политики». И сказала бы еще много чего, прежде чем вспомнить и добавить: «Еврейка». Идиш приправлял ее речь, когда она попадала в неприятности, сильно волновалась или была испугана, словно на подсознательном уровне эти слова были талисманом, оберегом от несчастий и катастроф.

– Бегаешь по улице, бросаешь покупки, забываешь, где ты находишься, трясешься от страха без всякого повода, ведешь себя как настоящая фармиште<sup>5</sup>, – с отвращением сказала она себе, глядя на свое отражение. – Если люди увидят тебя в таком виде, то подумают, что ты шиккер<sup>6</sup>, а к докторам-пьяницам люди не ходят.

Старые слова-талисманы подействовали магически, не очень сильно, но достаточно, чтобы зарозовели щеки и смягчился суровый взгляд. Джинджер перестала дрожать, хотя холод все еще не отпускал ее.

Она умылась, расчесала свои серебристо-светлые волосы, переоделась в пижаму и халат, что было обычной одеждой для вторника, когда она не отказывала себе ни в чем. Затем прошла в комнатку, которую использовала как кабинет, взяла с полки сильно замусоленный Энциклопедический медицинский словарь Табера и открыла его на букве «Ф».

Фуга.

Она знала значение этого слова, хотя и не понимала, зачем решила справиться в словаре, – ничего нового он ей сказать не мог. Возможно, словарь был еще одним талисманом. Если посмотреть на это слово в печатном виде, оно перестанет влиять на нее. Конечно. Вуду для образованных. Тем не менее она прочла статью.

«Фуга (от *лат.* fuga – бегство). Серьезное личностное расстройство. Неожиданное бегство из дома или места проживания. После этого состояния у больного обычно наблюдается потеря памяти по отношению к действиям, совершенным в состоянии фуги».

Она закрыла словарь и вернула его на полку.

---

<sup>2</sup> Шнук – балбеска (*идиш*).

<sup>3</sup> Мешуггене – чокнутая, придурочная (*идиш*).

<sup>4</sup> Фарфуккет – здесь: идиотка (*идиш*).

<sup>5</sup> Фармиште – помешанная (*идиш*).

<sup>6</sup> Шиккер – пьяница (*идиш*).

У нее были и другие справочники, с более подробным описанием фуги, с указанием ее причин и степени опасности, но Джинджер решила не продолжать свои изыскания. Она просто не могла поверить, что ее случайный приступ был симптомом серьезной болезни.

Может быть, она была слишком напряжена, слишком много работала и перегрузки вызвали единичный, изолированный случай фуги. Две или три минуты без сознания. Маленькое предупреждение. Она продолжит брать выходные по вторникам, постарается уходить с работы каждый день на час раньше, и больше проблем не будет.

Она работала изо всех сил, чтобы стать доктором по желанию матери, сделаться особенной и таким образом почтить память дорогого отца и давно ушедшей из жизни шведки, о которой всегда помнила и по которой отчаянно тосковала. Она пожертвовала многим, чтобы достичь этого. На выходных она чаще работала, чем отдыхала, забыла об отпуске и большинстве других удовольствий. Ей осталось всего шесть месяцев до окончания ординатуры, потом она откроет собственную практику, и она не позволит, чтобы хоть что-нибудь нарушило ее планы. Ничто не сможет лишить ее детской мечты.

Ничто.

Это было 12 ноября.

### 3

#### *Округ Элко, Невада*

Эрни Блок боялся темноты. В доме еще туда-сюда, но темнота под открытым небом, эта бесконечная чернота ночи здесь, в северной Неваде, его ужасала. Днем он старался находиться в комнатах, где было побольше окон и света включенных ламп, а ночью – в комнатах, где окон было мало или не было вовсе: ему казалось, что ночь давит на стекло, словно живое существо, которое хочет добраться до него и проглотить. Задернутые шторы не успокаивали его, потому что он знал: тьма – она там, ждет, когда ей представится шанс.

Он очень стыдился самого себя. Он не знал, почему с некоторых пор начал бояться темноты. Просто стал ее бояться, и все. Миллионы людей страдали той же фобией, но почти все они были детьми. А Эрни стукнуло пятьдесят два.

В пятницу, после Дня благодарения, он работал один в конторке мотеля – Фей до вторника улетела в Висконсин, чтобы повидать Люси, Фрэнка и внуков. В декабре они собирались закрыться на неделю и вместе уехать на Рождество к детям в Милуоки, но сейчас Фей улетела одна.

Эрни ужасно не хватало ее. Уже тридцать один год Фей была его женой и лучшим другом. Он любил ее сильнее, чем в день свадьбы. И еще... без Фей ночи казались длиннее, глубже, темнее, чем когда бы то ни было.

В пятницу, к половине третьего, он прибрался во всех комнатах, поменял белье – мотель «Транквилити» был готов к приему следующей волны путешественников. Мотель, единственное заведение такого рода на двенадцать миль вокруг, стоял на небольшом холме к северу от автомагистрали: небольшое аккуратное зданье среди бескрайних, заросших полынью долин и травянистых лугов на возвышенностях. Элко находился в тридцати милях к востоку, Бэттл-Маунтин – в сорока милях к западу. Городок Карлин и деревенька Беовейв были чуть ближе, но из мотеля Эрни не мог их видеть. Вообще-то, с парковки, куда ни посмотри, не было видно ни одного здания, и, вероятно, в мире не найдется другого мотеля, название которого так точно отвечало бы его сущности<sup>7</sup>.

Взяв банку морилки, Эрни стал удалять царапины на дубовой стойке, за которой гости регистрировались и оформляли отъезд. Если честно, претензий к состоянию стойки не было.

---

<sup>7</sup> «Tranquility» в переводе с английского означает «спокойствие», «безмятежность».

Просто Эрни хотел занять себя чем-нибудь до вечера, когда начнут подтягиваться клиенты с восьмидесятой федеральной трассы. Если не загрузить мозг, он станет думать о том, как рано наступает темнота в ноябре, волноваться в преддверии ночи, а когда та и в самом деле наступит, примется сходить с ума, как кот, к хвосту которого привязали консервную банку.

Конторка мотеля была настоящей обителью света. С момента открытия в половине седьмого утра здесь горели все светильники. На дубовом столе позади стойки регистрации стояла низенькая флуоресцентная лампа на гибкой ножке, отбрасывая бледный прямоугольник света на зеленый фетровый бювар. В углу, у архивных шкафов, стояла напольная лампа из меди. По другую сторону стойки можно было видеть вращающийся стенд с открытками, настенную полку с четырьмя десятками дешевых книжек, еще одну полку – с бесплатными туристическими брошюрками, игровой автомат у двери и обитый бежевой тканью диван, по бокам которого расположились приставные столики и светильники «имбирный кувшин» с лампами на 75, 100 и 150 ватт, подкрученные так, чтобы светить в полную силу. В потолок был вделан двухламповый осветительный прибор с матовым стеклом, а большую часть передней стены занимало огромное окно. Фасад здания выходил на юго-юго-запад, и в это время суток медовые лучи заходящего солнца проникали в это окно, придавая янтарный оттенок белой стене за диваном, дробясь на сотни ярких хаотичных линий на глазури «имбирных кувшинов», оставляя сверкающие отражения в медных медальонах, украшавших столы.

Когда Фей была дома, Эрни включал не все лампы: она наверняка упрекнула бы его из-за пустой траты электричества и погасила часть приборов. Невключенные лампы вызывали у Эрни беспокойство, но он держался, чтобы сохранить свою тайну. Судя по всему, Фей не знала о фобии, которая донимала его в течение последних трех месяцев, и Эрни не хотел, чтобы она узнала, стыдясь этой неожиданной странности и не желая беспокоить жену. Он не знал причин своего иррационального страха, но был уверен, что рано или поздно победит его: зачем унижать себя и попусту тревожить Фей из-за пустяка, который завтра исчезнет?

Эрни отказывался верить, что это серьезно. За свои пятьдесят два года он почти не болел и всего раз лежал в больнице, получив две пули – в ягодицу и в спину – на вьетнамской войне. В его семье не было душевнобольных, и Эрнест Юджин Блок ни секунды не сомневался – это уж-точно-черт-подери, – что не станет первым Блоком, который со слезами на глазах приползет на кушетку к психоаналитику. Он преодолет это, каким бы непонятным и тревожным оно ни казалось.

Все началось в сентябре со смутного беспокойства, которое нарастало с приближением ночи и не покидало его до рассвета. Поначалу беспокойство овладевало им не каждую ночь, но Эрни становилось все хуже и хуже, и к середине октября сумерки уже вызывали в нем необъяснимую душевную тревогу. К началу ноября тревога перешла в страх, а за последние две недели страх вырос настолько, что теперь его дни измерялись и почти целиком определялись непонятным ужасом перед надвигающимся мраком. В течение десяти прошедших дней он избегал выходить на улицу после наступления темноты. Фей пока ничего не заметила, хотя он понимал, что долго оставаться слепой она не будет.

Эрни Блок был настолько крупным мужчиной, что с его стороны было смешно чего-то бояться. Он имел рост в шесть футов, а сложен был так крепко и основательно, что фамилия вполне точно описывала его. Под его жесткими, коротко стриженными волосами виднелся литой череп, лицо было чистым и трогательным, но при этом Эрни выглядел квадратным, – казалось, будто его высекли из гранита. Толстая шея, массивные плечи и бочкообразная грудь придавали ему внушительный вид. В школьные годы Эрни был звездой команды по американскому футболу, другие игроки называли его Быком, а в морской пехоте, где он служил двадцать восемь лет (и откуда уволился шесть лет назад), большинство сослуживцев обращались к нему «сэр», хотя некоторые из них имели такое же звание. Они бы удивились, узнав, что у Эрни Блока в последнее время с приближением заката потеют ладони.

Делая над собой усилие, чтобы не думать о близком заходе солнца, он возился со стойкой и закончил работу в три сорок пять. Дневной свет изменился, став из медового янтарно-оранжевым, солнце клонилось к западу.

В четыре часа появились первые клиенты – пара его возраста, мистер и миссис Джилни, которые направлялись домой в Солт-Лейк-Сити, проведя неделю с сыном в Рино. Эрни поболтал с ними и испытал разочарование, когда они взяли ключ и ушли в свой номер.

Солнечный свет теперь стал совершенно оранжевым, чуть красноватым, желтизны в нем совсем не осталось. Высокие одиночные облака из белых парусников превратились в золотые и алые галеоны, плывшие на восток над Большим бассейном, в котором лежал почти весь штат Невада.

Через десять минут приехал мертвенно-бледный человек – по специальному заданию Бюро землепользования – и снял номер на два дня.

Оставшийся в одиночестве, Эрни старался не смотреть на часы.

Он и на окна старался не смотреть, потому что за окнами умирал день.

«Я не буду паниковать, – сказал он себе. – Я воевал, видел худшее, что может видеть человек, но, слава богу, я все еще здесь, большой и уродливый, как всегда, и не расклеюсь только из-за того, что приближается ночь».

В четыре пятьдесят солнечный свет из оранжевого стал кроваво-красным.

Сердце забилось чаще, словно грудная клетка превратилась в тиски, сжимавшие жизненно важные органы.

Эрни подошел к столу, сел на стул, закрыл глаза, чтобы успокоиться, проделал дыхательное упражнение.

Он включил радио – музыка иногда помогала. Кенни Роджерс пел об одиночестве.

Солнце коснулось горизонта и стало медленно исчезать. Алый свет стал голубовато-синим, и Эрни вспомнил о вечерах в Сингапуре, где он, будучи молодым рекрутом, отслужил два года в охране посольства.

Они наступили – сумерки.

Потом кое-что похуже – темнота.

Огни снаружи, включая сине-зеленую неоновую вывеску, хорошо видную с шоссе, включались автоматически, когда подкрадывалась темнота, но это не улучшало самочувствия Эрни. До рассвета оставалась вечность. Ночь вступала в свои права.

Когда свет умер, наружная температура упала ниже нуля. Печка на жидком топливе, поддерживавшая тепло в конторке, стала включаться чаще. Несмотря на холод, Эрни Блок потел.

В шесть часов из гриль-кафе «Транквилити», стоявшего к западу от мотеля, прибежала Сэнди Сарвер. В кафе со скудным меню подавали только ланч и обед гостям и голодным дальнобойщикам, которые сворачивали с шоссе, чтобы перекусить. (Завтрак для гостей включал также сладкие булочки и кофе, которые подавали прямо в номера, если вечером оставить заказ.) Кафе, как и мотель, принадлежало Эрни и Фей, тридцатидвухлетняя Сэнди работала там с мужем, которого звали Нед: он готовил еду, а Сэнди ее разносила. Жили они в трейлере неподалеку от Беовейва и каждый день приезжали на работу в потрепанном пикапе «форд».

Эрни поморщился: как только Сэнди открыла дверь, у него возникло иррациональное ощущение, будто в дом, в его конторку, пантерой может запрыгнуть темнота.

– Ужин принесла, – сказала Сэнди, дрожа в струе холодного воздуха, проникшего в дом вместе с ней, и водрузила на стойку картонную коробку. В ней лежали чизбургер, картошка фри, пластмассовый контейнер с капустным салатом и банка пива «Курс». – Подумала, что пиво вам не повредит – снизит холестерин.

– Спасибо, Сэнди.

Сэнди Сарвер имела невзрачную, простецкую внешность и выглядела выцветшей, даже неряшливой, хотя была способна на многое, сама не догадываясь об этом. Ноги у нее были тон-

коватыми, но довольно привлекательными. Добавить фунтов пятнадцать-двадцать – и Сэнди приобрела бы вполне приличные формы. Она была плоскогрудой, впрочем отсутствие полноты компенсировалось привлекательной гибкостью и очаровательным, чисто женским изяществом, которое больше всего проявлялось в ее худощавых руках и лебединой шее. Кроме того, Сэнди двигалась с редкой, захватывающей грациозностью, почти незаметной из-за привычки шаркать ногами при ходьбе и сутулиться, когда она сидела. Каштановые волосы казались тусклыми и безжизненными – вероятно, потому, что Сэнди мыла их мылом, а не шампунем. Она не пользовалась косметикой, даже помадой. Ногти у нее были обкусанными, неухоженными. Но она обладала добрым сердцем и щедрой душой, поэтому Эрни и Фей хотели, чтобы она выглядела получше и получала от жизни побольше.

Случалось, Эрни волновался за нее, как раньше волновался за Люси, собственную дочь, пока та не встретила Фрэнка и не вышла за него, после чего стала нескрываемо и безраздельно счастлива. С Сэнди Сарвер, чувствовал он, что-то случилось, давным-давно, – сильный удар, который не сломал ее, но научил не высовываться, жить с опущенной головой, не питать особых надежд, кроме самых мелких: это защищало от разочарования, боли и человеческой жестокости.

С удовольствием вдыхая запах еды, Эрни открыл банку пива и сказал:

– Нед делает лучшие бургеры, какие мне доводилось есть.

Сэнди застенчиво улыбнулась:

– Муж, который умеет готовить, – чистая благодать. – Ее голос звучал мягко и робко. –

Особенно для меня, ведь я в этом не очень.

– Да что ты – я уверен, ты тоже отличная повариха, – сказал Эрни.

– Нет-нет, ничутьюшки. Никогда не была и никогда не буду.

Он посмотрел на ее голые руки с гусиной кожей, торчавшие из коротких рукавов форменной блузки:

– Не надо ходить в такой холод без свитера. Заболеешь и умрешь.

– Мне это не грозит, – сказала она. – Я... привычная к холоду. С давних пор.

Эти слова показались ему странными, а голос Сэнди звучал еще более странно. Но прежде чем Эрни придумал, как ее разговорить и узнать, в чем дело, Сэнди двинулась к двери.

– Увидимся позже, Эрни.

– Что, много клиентов?

– Есть такое. Да и дальнобойщики скоро начнут подтягиваться к ужину. – Она помедлила перед открытой дверью. – У вас здесь столько света.

Кусок бургера застрял у него в горле, когда Сэнди открыла дверь. Она подвергала его опасности, шедшей от темноты.

Холодный воздух проник внутрь.

– Вы тут загореть можете, – сказала она.

– Я... я люблю свет. Люди приходят в конторку, и если она плохо освещена, то... возникает впечатление, будто здесь грязно.

– Ой, я бы никогда до этого не додумалась. Наверное, поэтому вы и босс. Если бы я возглавляла мотель, мне такие мелочи и в голову бы не пришли. Подробности – не для моей головы. Ну, я побежала.

Пока дверь была открыта, Эрни задерживал дыхание и облегченно вздохнул, когда Сэнди закрыла ее. Женская фигурка мелькнула за окном и исчезла из вида. Он не помнил, чтобы Сэнди хоть раз признала за собой какую-нибудь добродетель. Нет, она всегда спешила заявить о своих недостатках, реальных и вымышленных. Девчонка была милой, но ее общество становилось иногда скучным. Однако этим вечером он не отказался бы даже от скучного общества. Жаль, что она ушла.

Он поел за стойкой, не садясь, сосредоточившись исключительно на еде, не отрывая взгляда от нее, пока не съел все, изо всех сил стараясь не дать разуму впасть в иррациональный страх, от которого волосы на голове шевелились, а из-под мышек тек холодный пот.

Без десяти минут семь были заняты восемь номеров из двадцати. Наступал второй вечер четырехдневных праздников, когда путешественников приезжало больше обычного, и, просидев до девяти вечера, Эрни мог бы сдать еще не менее восьми номеров.

Но ему это было не по силам. Уволившись со службы, он все же оставался морским пехотинцем, для которого слова «долг» и «мужество» были священными, и ни разу не отказался от выполнения долга, даже когда рядом свистели пули, рвались снаряды и умирали люди. Но теперь он не мог справиться с элементарной задачей: досидеть до девяти часов в конторке мотеля. На больших окнах не было штор, а на входной двери – жалюзи: негде скрыться от темноты. Когда открывалась дверь, его переполнял страх, потому что между ним и ночью не оставалось никакой преграды.

Эрни посмотрел на свои большие, сильные руки. Они дрожали. Желудок завязывался узлом. Он так нервничал, что не мог сидеть спокойно – расхаживал по небольшому пространству за стойкой, крутил в руках то одну вещь, то другую.

Наконец в четверть восьмого он сдался иррациональной тревоге – щелкнул выключателем под стойкой, чтобы включить вывеску «СВОБОДНЫХ МЕСТ НЕТ», после чего запер входную дверь. Затем погасил лампы – одну за другой, – отступая от тени, захватывавшей пространство, где только что властвовал свет, и быстро оказался в задней части комнаты. Ступеньки вели в хозяйское жилье на втором этаже. Он намеревался подняться по ним обычным шагом, убеждая себя, что поступает глупо и нелепо, – бояться нечего, ничто не выскочит на него из темных углов конторки, оставшейся позади, ничто – какая дурацкая мысль, – абсолютно ничто. Но такого рода самоуспокоение не приносило пользы: его пугало не то, что прячется в темноте, нет, его пугала сама темнота, само отсутствие света. Он ускорил шаг, хватаясь рукой за перила, к своей досаде, быстро запаниковал и взбежал вверх через две ступеньки. Когда Эрни добрался до верха, сердце его колотилось. Он на нетвердых ногах вошел в гостиную, нащупал выключатель на стене, погасил последние лампы внизу, захлопнул дверь с такой силой, что вся стена сотряслась, заперся на замок и привалился к двери широкой спиной.

Ему не удавалось смирить дыхание или унять дрожь. Он обонял собственный пот.

Днем в их жилье горело несколько ламп, но некоторые из них оставались выключенными, и теперь он быстрым шагом переходил из комнаты в комнату, зажигая все лампы и потолочные светильники. Все шторы и жалюзи были плотно закрыты еще во время прежней ночной пытки, и он даже случайно не мог увидеть темноту за окнами.

Сумев взять себя в руки, он позвонил в гриль-кафе «Транквилити», сказав Сэнди, что неважно себя чувствует, а потому закрылся пораньше. Он попросил их оставить дневную выручку у себя до завтрашнего утра и не беспокоить его сегодня, когда они закроют кафе.

Его подташнивало от едкой вони собственного пота – не столько от запаха, сколько от полной утраты контроля над собой, которую символизировал этот запах. Он принял душ, вытерся насухо, надел свежее нижнее белье, закутался в плотный теплый халат, сунул ноги в тапочки.

Прежде, несмотря на обескураживающе невнятное предчувствие, он мог спать в темной комнате, хотя тревога мучила его и он умирал ее пивом. Но два дня назад, когда Фей уехала в Висконсин, он смог уснуть только при включенной лампе, стоявшей на ночной тумбочке. Этой ночью ему опять потребуется успокаивающий свет.

А когда Фей вернется? Сможет он, как раньше, спать в темноте? А если Фей выключит свет... и он начнет рыдать, как испуганный младенец?

От мысли о надвигающемся унижении он заскрежетал зубами и переместился к ближайшему окну.

Он коснулся рукой плотно натянутой шторы. Помедлил. Сердце выдавало приглушенную автоматную очередь.

Для Фей он всегда был сильным, скалой, на которую она могла опереться. Настоящий мужчина обязан быть скалой. Он не должен подвести Фей. Он обязан справиться с этой странной болезнью до ее возвращения из Висконсина.

Во рту стало сухо, руки снова задрожали, когда Эрни подумал о том, что может находиться за стеклом, пока еще занавешенным. Но он знал: единственный способ победить болезнь – бросить ей вызов. Такой урок преподала ему жизнь: будь смелым, бросай вызов врагу, вступай с ним в схватку. Эта философия действия неизменно выручала его. Должна выручить и теперь. Окно находилось на тыльной стороне мотеля, за которой лежали луга и холмы необитаемого нагорья, и единственный свет здесь исходил от звезд. Он должен раздвинуть шторы, встретиться лицом к лицу с этим мрачным пейзажем, взять себя в руки, выдержать. Эта стычка станет очистительной, вымоет яд из его организма.

Эрни раздвинул шторы и стал смотреть в ночь, говоря себе, что эта полная чернота не так уж глубока и чиста, не так уж бесконечна и холодна, вовсе не зловеща и не представляет для него никакой угрозы.

Но пока он, не двигаясь, смотрел, части тьмы за окном, казалось, начали двигаться, сливаться друг с другом, образовывать плохо видимые, но все же достаточно ощутимые фигуры, комки пульсирующей, более плотной черноты внутри более обширной, – прыгающих призраков, которые в любой момент могли добраться до его хрупкого окна.

Он сжал челюсти и прижал лоб к ледяному стеклу.

Бескрайние невадские пустоши, казалось, раздались еще больше. Он не видел гор, спрятанных за пологом ночи, но чувствовал, что они волшебным образом отступают, долины между ним и горами расширяются на сотни миль, на тысячи, быстро растут в бесконечность – и вот он уже оказался в центре пустоты, громадной, просто невообразимой. Со всех сторон его окружали пустота и беспросветность, не поддающиеся описанию, превосходящие его слабое воображение: страшная пустота справа и слева, спереди и сзади, наверху и внизу – и он вдруг понял, что не может дышать.

Это было гораздо хуже всего, что он чувствовал прежде. Страх, который проникал в самое нутро. Бесконечный. Шокирующе сильный. И безраздельно властвующий над ним.

Он вдруг почувствовал весь груз этой огромной тьмы, – казалось, она неумолимо соскальзывает на него. Бесконечно высокие стены тяжелой тьмы рушились, стискивали его, выдавливали из него дыхание. Он вскрикнул и отпрянул от окна.

Шторы с тихим шуршанием сошлись, и он упал на колени. Окно снова было зашторено. Темнота была спрятана. Вокруг него царил свет, благословенный свет. Он опустил голову и вздрогнул, заглатывая воздух.

Эрни подполз к кровати и залез на матрас, где долго лежал, слушая стук собственного сердца, похожий на шаги внутри его – сначала бегущие, потом спешащие, потом неторопливые. Он не решил проблемы, – наоборот, столкновение с тьмой только усугубило ее.

– Что здесь происходит? – громко проговорил он, глядя в потолок. – Что со мной? Боже милостивый, что со мной?

Было 22 ноября.

## 4

### *Лагуна-Бич, Калифорния*

В субботу, после еще одного удручающего случая лунатизма, Доминик Корвейсис принял отчаянную попытку справиться со своим недугом, тщательно, методически выматывая себя. Он рассчитывал к ночи остаться совсем без сил, чтобы уснуть и лежать неподвижно, как

камень, сокрытый в чреве земли с незапамятных времен. Начав в семь утра, когда прохладный ночной туман еще висел в каньонах и на ветвях деревьев, он полчаса изматывал себя тяжелыми физическими упражнениями в патио с видом на океан, потом надел кроссовки и не без труда пробежал семь миль по холмистым улицам Лагуны. Следующие пять часов он утомлял себя тяжелой работой в саду. Потом – день стоял теплый – он надел плавки, бросил полотенца в свой «файрберд» и отправился на берег. Он немного позагорал и много плавал. После обеда в «Пикассо» погулял по улицам с бесконечными магазинами по обеим сторонам и с редкими туристами в межсезонье. Наконец он сел в машину и поехал домой.

Раздевшись в спальне, Доминик почувствовал себя так, словно оказался в стране лилипутов, где тысячи крохотных людей тащили его вниз, обвязав многочисленными веревками. Пил он редко, но сегодня позволил себе рюмку «Реми Мартен». А когда лег в постель, сразу уснул, забыв выключить свет.

Хождение во сне случалось все чаще, и эта проблема стала теперь главной в его жизни. Она мешала работе. Новая книга, которая поначалу продвигалась неплохо, – лучшее, что он написал за всю жизнь, – остановилась. За последние две недели он девять раз просыпался в кладовках, за последние четыре ночи – четыре раза. Лунатизм перестал быть чем-то забавным и интригующим. Он боялся лечь спать, потому что во сне не контролировал себя.

Днем раньше, в пятницу, он наконец отправился в Ньюпорт-Бич к Полу Коблецу, своему врачу, и сбивчиво рассказал ему о своем лунатизме, но поймал себя на том, что не хочет и не может поведать ему о глубине и серьезности своей тревоги. Доминик всегда был очень закрытым человеком. Таким его сделало детство, проведенное в нескольких сиротских приютах и на попечении приемных родителей: некоторые были безразличны или даже враждебны к нему, присутствие остальных в его жизни оказалось мимолетным. Он не любил делиться самыми сокровенными и важными мыслями, разве что порой вкладывал их в уста героев своей фантастики.

В результате у Коблеца не появилось поводов для беспокойства. После полного осмотра он объявил, что Доминик находится в превосходном состоянии, а сомнамбулизм объяснил стрессом, связанным с грядущей публикацией романа.

– Не думаете, что мне стоит пройти полное обследование? – спросил Доминик.

– Вы писатель, – сказал Коблец, – и воображение далеко уносит вас. Вы решили, что у вас опухоль в мозгу? Верно?

– Мм... да.

– Головные боли? Головокружение? Туман в глазах?

– Нет.

– Я проверил ваши глаза. В сетчатке нет никаких изменений. И никаких признаков внутричерепного давления. У вас случались необъяснимые приступы рвоты?

– Нет. Ничего похожего.

– Приступы головокружения, смех, эйфория без видимой причины? Что-нибудь в таком роде?

– Нет.

– Раз так, я пока не вижу причин для обследования.

– Вы не считаете, что мне следует... обратиться к психотерапевту?

– Господи боже, нет! Уверен, вскоре это пройдет.

Доминик оделся, увидел, что Коблец закрыл его медицинскую карту, и сказал:

– Я подумал, может, таблетки от бессонницы...

– Нет-нет, – возразил Коблец. – Пока еще рано. Я не верю в необходимость медикаментозного лечения при первом обращении. Сделайте вот что, Доминик. Оставьте работу над книгой на несколько недель. Не напрягайте мозг. Побольше занимайтесь физическими упражне-

ниями. Ложитесь спать каждый день уставшим, настолько уставшим, чтобы вам было не до книги. Через несколько дней все пройдет. Я в этом убежден.

В субботу Доминик, начав выполнять указания доктора Кobleца, целиком отдался физической активности, проявив больше целеустремленности и жгучей настойчивости, чем предлагал доктор. В результате он уснул, как только голова коснулась подушки, а утром оказалось, что он спал не в чулане.

Но и не в кровати. На этот раз он спал в гараже.

Доминик пришел в себя, охваченный ужасом: дыхание перехватывало, он пытался глотать ртом воздух, сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот разобьет грудную клетку. Во рту пересохло, руки сжались в кулаки. Он чувствовал себя помятым, тело болело – отчасти от избыточных субботних упражнений, отчасти от неестественной, неудобной позы, в которой уснул. Видимо, ночью он взял два сложенных куска брезента с полки над верстаком и устроился в узком пространстве за отопительным котлом. Там он и лежал теперь, спрятавшись под брезентом.

«Спрятавшись». Вполне подходящее слово. Он спрятался под брезентом не для тепла. Он искал убежища за котлом, под брезентом, потому что прятался от чего-то.

От чего?

Даже сейчас, когда Доминик скинул с себя брезент и с трудом сел, когда сон прошел, а глаза приспособились к полутьме гаража, сильная тревога, с которой он проснулся, все еще не отпускала его. Сердце колотилось.

Чего он боялся?

Сон. В своем ночном кошмаре он, вероятно, убегал и прятался от какого-то монстра. Да. Конечно. Враг из кошмара вынуждал его ходить во сне, Доминик искал, где бы ему спрятаться, и спрятался на самом деле, в реальном мире: забрался за котел.

Его белый «файрберд» вырисовывался, как призрак, в свете, шедшем от вентиляционных решеток и единственного окна над верстаком. Доминик встал и побрел, чувствуя себя так, словно и сам стал призраком.

Войдя в дом, он сразу же прошел в кабинет. Прищурился от утреннего света, наполнявшего комнату, сел за стол прямо в грязных пижамных штанах, включил IBM Displaywriter, просмотрел документы на дискете. Все оставалось таким же, как в четверг, когда он выключил машинку. Ничего нового.

Доминик надеялся, что во сне он оставил сообщение, которое поможет найти источник его тревоги. Эта информация наверняка хранилась в его подсознании, но для сознания все еще оставалась недоступной. Когда он ходил во сне, подсознание работало, – возможно, оно попытается объяснить разуму смысл происходящего через Displaywriter? Но пока этого не случилось.

Он выключил машинку и долго сидел, глядя в окно на океан. Думал...

Позднее, собираясь принять душ, он обнаружил в спальне нечто странное. По ковру были разбросаны гвозди, так что ступать пришлось с осторожностью. Он нагнулся и поднял несколько штук. Все оказались одинаковыми: полуторадюймовые декоративные гвозди из стали. В дальнем конце спальни его внимание привлекли два предмета. Под окном с раздвинутыми шторами, у плинтуса, лежала коробка с гвоздями, наполовину пустая: часть содержимого валялась на полу. Рядом с коробкой лежал молоток.

Доминик поднял его, взвесил в руке, нахмурился.

Чем он занимался в одинокие ночные часы?

Он поднял глаза на подоконник и увидел там три гвоздя, которые сверкали в солнечных лучах.

Судя по всему, он готовился забить окна. Господи Иисусе! Что-то смертельно напугало его, и он собрался забить окна, превратить дом в крепость. Но прежде чем он начал приводить этот план в действие, страх так переполнил его, что он убежал в гараж и спрятался за котлом.

Он уронил молоток, встал, посмотрел в окно. Розовые кусты в цвету, полоска газона, поросший плющом склон, ведущий к другому дому. Ласкающий глаз пейзаж. Мирный. Он не мог поверить, что пейзаж изменился прошлой ночью, что в темноте пряталось нечто угрожающее.

И все же...

Некоторое время Доминик Корвейсис смотрел в окно. День становился все ярче. Он понаблюдал за пчелами, что прилетали к розам, потом принялся собирать гвозди.

Это было 23 ноября.

## 5

### *Бостон, Массачусетс*

После истории с черными перчатками две недели прошли без происшествий.

Вслед за неловкой сценой в кулинарии Бернстайна Джинджер Вайс несколько дней жила на нервах в ожидании нового приступа. Она была – необычное дело – погружена в себя, остро ощущала свое физиологическое и психологическое состояние, искала самые слабые симптомы серьезного расстройства, чутко прислушивалась к себе – нет ли хотя бы малейших признаков новой фуги? Но нет – ни мигреней, ни приступов тошноты, ни суставной или мышечной боли. Постепенно к ней вернулась прежняя уверенность в себе. Она решила, что безумный бег был вызван стрессом, помрачением, которое никогда не повторится.

В госпитале стало еще больше работы. У Джорджа Ханнаби, главы хирургического отделения, – высокого, мощного, как медведь, мужчины, который медленно говорил, медленно двигался и выглядел обманчиво ленивым, – было плотное расписание, и, хотя Джинджер не единственная проходила ординатуру под его руководством, только она теперь работала исключительно с ним. Она ассистировала ему в большинстве операций по имплантации аортального клапана, ампутациях, шунтированию подколенной артерии, эмболэктомии, портокавальному шунтированию, торакотомии, ангиографии, постановке временных и постоянных кардиостимуляторов и многих других.

Джордж наблюдал за каждым ее шагом, быстро замечал малейшие пробелы в ее навыках и умениях. Хотя он и походил на дружелюбного медведя, но был строгим начальником и не терпел лени, неумения или неаккуратности. Он мог быть безжалостным в своей критике, так что молодые доктора исходили потом. Его презрение было не просто испепеляющим – он обезвоживал, пугал, действовал, как ядерный взрыв.

Некоторые из ординатуры считали Джорджа тираном, но Джинджер нравилось ассистировать доктору именно из-за его высоких стандартов. Она знала, что его критика может быть резкой, но всегда продиктована заботой о пациенте. Когда она наконец заслужит полное одобрение Ханнаби... да, для нее это будет подобно благословию свыше.

В последний понедельник ноября, тринадцать дней спустя после того странного приступа, Джинджер ассистировала во время операции тройного шунтирования: пациент, 53-летний бостонский полицейский Джонни О’Дей, оставил службу раньше времени из-за сердечного заболевания. Джонни был коренастым, краснолицым, со всклокоченными волосами и веселыми голубыми глазами, скромным и смешливым, несмотря на свои болячки. Джинджер особенно влекло к нему – ничуть не походя на покойного Джейкоба Вайса, Джонни все же напоминал ей отца.

Она боялась, что Джонни О’Дей умрет, и отчасти по ее вине.

У нее не было повода считать, что он подвержен опасности в большей мере, чем другие пациенты с сердечными проблемами. Джонни был на десять лет моложе, чем среднестатистический пациент, нуждающийся в шунтировании, и имел больше ресурсов для восстановления. Его заболевание не было осложнено ничем другим – флебитом или чрезмерно высоким кровяным давлением. Перспективы были благоприятными.

Но Джинджер не могла избавиться от страха, который все сильнее душил ее. Днем в понедельник, по мере приближения времени операции, она стала чувствовать напряжение, появилась изжога. Впервые с того дня, когда она, одинокая и беспомощная, сидела в больнице у кровати умирающего отца, Джинджер стали одолевать сомнения.

Возможно, ее опасения усилились из-за неоправданной, но неизбежной мысли о том, что если она подведет пациента, то в каком-то смысле подведет и Джейкоба. А может быть, ее страх не имел вообще никаких оснований: все это потом покажется ей глупым и смехотворным.

Тем не менее, когда она входила в операционную вместе с Джорджем, она задумалась о том, не задрожат ли ее руки. Руки хирурга никогда не должны дрожать.

Операционная была отделана плиткой – белой и цвета морской волны – и заставлена сверкающим хромированным оборудованием из нержавеющей стали. Сестры и анестезиолог готовили пациента.

Джонни О’Дей лежал на крестообразном операционном столе, раскинув руки, с ладонями, повернутыми вверх, и запястьями, подготовленными для внутривенных вливаний.

Агата Танди, персональная операционная сестра Джорджа, работавшая не столько на больницу, сколько лично на него, натянула латексные перчатки на свежeweымытые руки шефа, а потом и на руки Джинджер.

Пациент был под анестезией – оранжевый от йода от шеи до запястий, укрытый ниже бедер подоткнутой под него зеленой тканью. Веки заклеили лентой, чтобы не допустить высыхания. Дышал он медленно, но ритмично.

На столе в углу стоял портативный кассетный магнитофон. Джордж предпочитал оперировать под музыку Баха, и теперь помещение наполняли звуки органа.

Других эта музыка, возможно, и успокаивала, но Джинджер не могла успокоиться. Что-то светливое тайно плело ледяную сеть в ее желудке.

Ханнаби встал у стола. Агата расположилась справа от него, держа точно подобранный по распоряжению Ханнаби комплект инструментов. Дежурная медсестра стояла в ожидании – не надо ли взять что-нибудь из шкафов, тянувшихся вдоль стены? Сестра-ассистентка с большими серыми глазами заметила складку на зеленой ткани и поспешила подоткнуть покрывало. Анестезиолог и его сестра расположились в головной части стола, наблюдая за внутривенными вливаниями и электрокардиограммой. Джинджер заняла свое место.

Она посмотрела на руки – никакой дрожи.

Но внутри вся она тряслась.

Несмотря на предчувствие надвигающейся катастрофы, операция шла гладко. Джордж Ханнаби работал быстро, уверенно, ловко и мастерски, что на этот раз впечатляло даже больше обычного. Он дважды отходил в сторону и просил Джинджер закончить текущий этап.

Джинджер удивлялась самой себе – она действовала с обычной уверенностью и быстротой, страх и напряженность выражались разве что в обильном потоотделении. Однако сестра быстро промокала ей лоб.

Когда они мыли руки, Джордж произнес:

– Ювелирная работа.

Намыливая руки под горячей водой, она сказала:

– Вы всегда выглядите таким расслабленным, словно... словно вы и не хирург вовсе... словно вы портной и подправляете костюм.

– Это только со стороны так кажется, на самом деле я всегда в напряжении. Поэтому я и ставлю Баха. – Он закончил мыть руки. – Вы сегодня были очень напряжены.

– Да, – согласилась она.

– Необыкновенно напряжены. Такое случается. – Этот крупный мужчина иногда смотрел глазами милого, ласкового ребенка. – Важно, что это никак не повлияло на ваше врачебное мастерство. Вы были точны, как всегда. Высший класс. Вот в чем суть. Вы должны научиться использовать напряжение к своей выгоде.

– Наверное, я учусь.

Он усмехнулся:

– Вы, как обычно, слишком строги к себе. Я вами горжусь, девочка. Некоторое время я думал, что вам лучше оставить медицину и зарабатывать на жизнь разделкой мяса в супермаркете, но теперь я знаю: вы сумеете.

Джинджер улыбнулась ему в ответ, но ее улыбка была притворной. Она была сверхнапряжена. Во время операции ее охватил холодный, черный страх, который вполне мог подавить ее и ничуть не походил на здоровое напряжение. Такого страха она не испытывала никогда прежде и знала, что Джордж Ханнаби в жизни не чувствовал ничего подобного – во всяком случае, не в операционной. Если это не прекратится, если страх станет ее постоянным спутником в хирургии и она не сможет прогнать его... что тогда?

Вечером, в десять тридцать, когда Джинджер читала в постели, зазвонил телефон. Она сняла трубку и услышала голос Джорджа Ханнаби. Если бы он позвонил раньше, она бы запаниковала, решила бы, что состояние Джонни О’Дея сильно ухудшилось, но сейчас она позволила себе пошутить:

– Моя извиняй. Мисси Вайс дом нет. Я английский не говорю. Позвоните в следующий апрель.

– Если это псевдоиспанский акцент, вышло чудовищно не похоже, – сказал Джордж. – Если псевдовосточный, вышло просто плохо. Благодарите бога, что вы пошли в медицину, а не в театр.

– А вот вы, напротив, стали бы успешным театральным критиком.

– Я остро и восприимчиво смотрю на вещи, рассуждаю трезво и сужу безошибочно – все качества первоклассного критика, разве нет? А теперь закройте рот и слушайте. У меня хорошие новости. Думаю, вы готовы, умная голова.

– Готова? К чему?

– К большому делу. Аортальный трансплантат.

– Вы хотите сказать... я не буду вам ассистировать? Все сама, от и до?

– Ведущий хирург операции.

– Аортальный трансплантат?

– Конечно. Вы ведь специализировались по сердечно-сосудистой хирургии не для того, чтобы всю жизнь вырезать аппендиксы.

Джинджер уже сидела на кровати. Сердце учащенно билось, она раскраснелась от возбуждения.

– Когда?

– На следующей неделе. В четверг или пятницу поступит пациентка. Фамилия – Флетчер. В среду мы с вами просмотрим ее историю болезни. Если все пойдет по расписанию, думаю, к понедельнику мы будем готовы. Вы, конечно, сами назначите дату всех последних анализов и примете решение об операции.

– Боже мой...

– Все у вас получится.

– Вы будете со мной.

- Я буду помогать... если вы решите, что вам это нужно.
- И если у меня все пойдет наперекосяк, вы возьмете бразды правления в свои руки.
- Не валяйте дурака, все пойдет как надо...

Она задумалась на секунду, потом сказала:

- Да, все пойдет как надо.
- Вот это моя Джинджер. Вы можете сделать все, за что возьметесь.
- Даже доскакать до луны на жирафе.
- Что?
- Это моя личная шутка.

– Послушайте, сегодня вы были на грани паники, я знаю. Не волнуйтесь. Это случается со всеми начинающими. Большинству приходится справляться с этим на раннем этапе, когда они начинают ассистировать в операционной. Так называемый замок. Но вы с самого начала были расчетливы и собраны, и я в конце концов решил, что замка у вас не случится, в отличие от остальных. Но сегодня вы это пережили. Замок случился у вас позже, чем у большинства других. Думаю, вас это все еще беспокоит, но скажу: я рад, что это случилось. Замок – опыт, который закаляет. Важно то, что вы превосходно справились.

– Спасибо, Джордж. Вам бы даже не в театральные критики идти, а в бейсбольные тренеры.

Несколько минут спустя, когда разговор закончился, она откинулась на подушки, обхватила себя руками и тихо засмеялась – так хорошо ей стало. Чуть погодя она отправилась в кладовку, нашла семейный альбом Вайсов, взяла его с собой и некоторое время сидела в кровати, листая страницы с фотографиями Джейкоба и Анны: хотя она не могла поделиться с родителями своей радостью, ей нужно было чувствовать, что они рядом.

Позднее, в темной спальне, балансируя на тонкой грани сна и бодрствования, Джинджер наконец поняла, что напугало ее днем. Это был не замок. Только теперь она смогла признаться себе, что боялась вырубиться посреди операции, стать жертвой фуги, как в тот вторник, две недели назад. Если приступ начнется, когда в руке у нее окажется скальпель, когда она будет делать тончайший разрез или вшивать клапан...

От этой мысли глаза ее широко раскрылись. Наползающий сон бросился наутек, как грабитель, застигнутый на месте преступления. Джинджер долго лежала неподвижно, вглядываясь в темные, ставшие зловещими очертания мебели, смотрела на полоску оконного стекла за неплотно задернутыми шторами, посеребренную падающим лунным светом и поднимающимися вверх лучами от фонарей.

Может ли она взять на себя обязанности ведущего хирурга во время аортальной имплантации? Ее приступ явно был разовым. Он никогда не повторится. Определенно не повторится. Но решится ли она проверить это на практике?

Сон вернулся и предъявил свои права, хоть и ненадолго.

Во вторник Джинджер сходила к Бернстайну, принесла домой кучу еды, лениво посидела в кресле с хорошей книжкой. К ней вернулась уверенность в себе, и она приготовилась дать ответ на ожидавший ее вызов; если опасения и были, то лишь самые обычные.

Во вторник Джонни О’Дей после тройного шунтирования продолжал идти на поправку и пребывал в хорошем настроении. Вот почему стоило тратить годы на учебу и работу до седьмого пота: ради спасения жизней, избавления от страданий, возвращения надежды и счастья тем, кто знал одно лишь отчаяние.

Она ассистировала при установке кардиостимулятора, которая прошла без сучка без задоринки, сделала аортограмму – тестирование сосудов с помощью контрастного вещества. Потом, сидя в кабинете Джорджа, наблюдала, как тот обследует семерых пациентов, направленных к нему другими врачами.

После этого Джордж и Джинджер полчаса изучали медицинскую карту женщины, которой требовалась имплантация аортального клапана, – 58-летней Виолы Флетчер. Изучив медкарту, Джинджер решила, что миссис Флетчер должна приехать к ним в четверг для проведения анализов и подготовки к операции. Если не будет выявлено противопоказаний, операция состоится в понедельник утром. Джордж согласился, и они отдали все необходимые распоряжения.

Так она дожила до среды – постоянно в работе, не скучая ни минуты. К шести тридцати она не чувствовала себя усталой, хотя позади остался двенадцатичасовой рабочий день. Ничто больше не держало ее здесь, но уходить не хотелось. Джордж Ханнаби уже вернулся домой, а Джинджер оставалась в больнице, болтала с пациентами, проверяла и перепроверяла показания и наконец пошла в кабинет Джорджа, чтобы перечитать медицинскую карту Виолы Флетчер.

Кабинеты врачей располагались в заднем крыле здания, отделенном от лечебной части. В этот час коридоры были почти пустыми. Туфли Джинджер на резиновой подошве поскрипывали на отполированном до блеска полу. В воздухе пахло дезинфектантом с сосновым ароматом.

В приемной, смотровых, личном кабинете Ханнаби царили темнота и тишина, и Джинджер, проходя во внутреннее святилище, не стала включать свет. В кабинете она зажгла только настольную лампу и направилась к запертой двери архива – Джордж оставил ей все ключи. Через минуту она достала из шкафа медицинскую карту Виолы Флетчер и вернулась за стол Джорджа.

Она села в большое кожаное кресло, открыла папку в круге света от настольной лампы и только тогда заметила предмет, при виде которого у нее перехватило дыхание. Предмет лежал на зеленом коврик, освещенный все той же лампой: ручной офтальмоскоп, инструмент для обследования глазного дна. В нем определенно не было ничего необычного, ничего зловещего. Все врачи пользовались им при рутинном осмотре. Но у Джинджер при виде этого прибора перехватило дыхание и, более того, возникло предчувствие близкой и страшной опасности.

Она покрылась холодным потом.

Сердце забило так сильно, так громко, что казалось, звук рождался не внутри, а снаружи, словно за окнами шел парад и били в барабаны.

Она не могла оторвать глаз от офтальмоскопа. Как и при встрече с мужчиной в черных перчатках у Бернштейна две с лишним недели назад, все остальные предметы в кабинете начали растворяться, исчезать, и наконец сверкающий металлом инструмент остался единственной вещью, которую она видела во всех подробностях: все крохотные царапинки, все трещинки на ручке. Самые ничтожные детали его конструкции неожиданно показались необыкновенно важными, словно офтальмоскоп был не обычным медицинским инструментом, а осью вселенной, таинственным инструментом, способным вызвать катастрофические разрушения.

Потеряв ориентацию, впад в клаустрофобию под грузом тяжелого, неумолимого, давящего покрова иррационального страха, Джинджер оттолкнула кресло от стола и вскочила на ноги. Она тяжело дышала, постанывала, чувствовала одновременно духоту и холод, пронизывающий ее до мозга костей.

Ножка офтальмоскопа сверкала, словно изготовленная из льда.

Линза светилась, как радужный и пугающе враждебный глаз.

Ее решимость не сдаваться быстро растаяла, и даже сердце, казалось, заledenело от холодного дыхания ужаса.

«Беги или умрешь, – сказал голос внутри ее. – Беги или умрешь».

Из груди вырвался крик, похожий на отчаянную мольбу потерянного и испуганного ребенка.

Она отвернулась от стола, кое-как обошла его, чуть не упала в кресло, потом пересекла кабинет, выскочила в приемную и выбежала в пустой коридор с пронзительным криком, в поисках безопасного места, которого не находила. Ей требовалась помощь друга, но на этаже никого больше не было, а опасность наступала. Неизвестная угроза, отчего-то воплощенная в безобидном офтальмоскопе, приближалась, а потому Джинджер бросилась бежать со всех ног, и ее топот гулким эхом отдавался в пустом коридоре.

«Беги или умрешь».

И туман окутал все вокруг.

Несколько минут спустя, когда туман рассеялся и сознание вернулось к ней, Джинджер обнаружила, что сидит на межэтажной бетонной площадке аварийной лестницы в конце административного крыла. Она не помнила, как выскочила из служебного коридора и поднялась по лестнице. Вжавшись в угол, спиной к холодной стене, она уставилась на перила. В проволочной корзинке наверху горела голая лампочка. Слева и справа от нее лестничные пролеты вели вниз – во мрак, и вверх – тоже во мрак, прежде чем выйти на другие освещенные площадки. В воздухе пахло плесенью и холодом. Если бы не неровное дыхание Джинджер, здесь бы царила тишина.

Ее бешеное бегство и другие странности, ее необъяснимая fuga явно не были замечены никем, иначе она сейчас не оставалась бы одна. Хоть что-то хорошее. Слава богу, никто не узнал.

Но сама она знала, что все очень серьезно.

Ее трясло, но не только от страха – иррациональный ужас прошел. Она дрожала еще и от холода, а холодно ей было оттого, что одежда прилипла к покрытой потом коже.

Она поднесла руку к лицу и отерла его.

Поднялась на ноги и осмотрела пролет, уходящий вниз и вверх. Она не знала, где находится кабинет Джорджа Ханнаби – выше или ниже площадки. Подумав немного, она решила идти вверх.

Призрачное эхо разносило звук ее шагов.

В голову отчего-то лезли мысли о могилах.

«Мешуггене», – сказала она дрожащим голосом.

Было 27 ноября.

## 6

### *Чикаго, Иллинойс*

Первое воскресное утро декабря под низким, серым, обещавшим снегопад небом выдалось холодным. К полудню начнут падать редкие снежинки, а к началу вечера закоптелый лик города и грязные окраины временно скроются под тонким девственно-белым покровом снега. Этим вечером главной темой разговоров во всем городе, от фешенебельного Золотого берега до трущоб, станет снежная буря. Повсюду, кроме римско-католических домов прихода церкви святой Бернадетты: там по-прежнему люди будут говорить о скандальном поступке отца Брендана Кронина во время утренней мессы.

Отец Кронин поднялся в половине шестого утра, помолился, принял душ, побрился, облачился в сутану и биретту, взял часослов и покинул приходской дом, даже не надев пальто. Он постоял немного на заднем крыльце, глубоко вдыхая свежий декабрьский воздух.

Ему было тридцать лет, но он выглядел моложе благодаря честным зеленым глазам, непокорной каштановой шевелюре и веснушчатому лицу. В нем было пятьдесят или шестьдесят фунтов лишнего веса, хотя живот выпирал несильно. Жир на его теле распределялся равно-

мерно, наполняя и лицо, и руки, и торс, и ноги. И в школе, и в колледже, и в семинарии его звали Толстячком.

Какие бы эмоции ни одолевали его, отец Кронин почти всегда выглядел счастливым. Его ангельское от природы лицо было плохо приспособлено для выражения гнева, тоски или скорби. Этим утром он выглядел вполне довольным собой и миром, хотя на душе его скребли кошки.

Он прошел по выложенной плиткой дорожке, мимо голых цветочных клумб, где лежали смерзшиеся земляные комки, отпер дверь ризницы и вошел внутрь. Аромат мирры и шиповника смешивался с запахом мебельной политуры на лимонном масле, которой обрабатывали дубовые панели старой церкви, скамьи и другие деревянные предметы.

Не включая света – мерцал только рубиновый огонек в ризнице, – отец Кронин встал коленями на скамеечку, склонил голову и стал молча просить Всевышнего сделать его достойным священником. Прежде от этой безмолвной просьбы, которую он обращал к Господу до появления ризничего и мальчика-служки, душа его воспаряла к небесам и наполнялась восторгом в предвкушении мессы. Но сегодня, как и почти всегда за последние четыре месяца, он не чувствовал радости.

Он сжал челюсти, заскрежетал зубами, словно мог усилием воли вызвать у себя духовный экстаз, и сосредоточился на начальных молитвах, хотя чувствовал пустоту внутри: ничто не трогало его.

Помыв руки и отбормотав «*Da Domine*»<sup>8</sup>, отец Кронин положил биретту на аналой и прошел к скамье для облачения, чтобы подготовиться к службе. Он был человеком чувствительным, художником в душе, и в величественной красоте мессы видел радующее сердце отражение Божественного порядка, далекий отзвук Божественной благодати. Обычно, набрасывая себе на плечи льняной амикт, поправляя белую альбу, чтобы та спускалась до щиколоток, но не ниже, он испытывал трепет, проходящий по всему телу, – трепет при мысли о том, что он, Брендан Кронин, сумел-таки стать священником.

Обычно. Но не сегодня. И так продолжалось уже несколько недель.

Отец Кронин надел амикт, обмотал тесемки вокруг спины и связал их на груди. Даже поднимая манипул, целуя крест и размещая его на левой руке, он не чувствовал ничего, кроме холодной, пульсирующей, пустой боли там, где прежде находились вера и радость.

Четыре месяца назад, в начале августа, отец Брендан Кронин начал терять веру. В нем зажегся крохотный, но упорный огонек сомнения, незатухающий, медленно сжигавший все.

Потеря веры мучительна для любого священника. Но для Брендана Кронина она была страшнее, чем для большинства других. Ему никогда не приходило в голову, что он может стать кем-то другим. Его родители, люди религиозные, воспитали в нем преданность Церкви. Но он пошел в священники не для того, чтобы угодить родителям. Проще говоря, каким бы тривиальным это ни казалось другим в нынешний век агностицизма, его с юности влекло священническое служение. А теперь, хотя от веры ничего не осталось, служение продолжало быть важной частью его самовосприятия; в то же время он знал, что не может и дальше служить мессу, молиться и утешать страждущих, если все это превратилось для него в бессмысленный спектакль.

Кронин накинул на шею столу и перекрестил ее на груди. Дверь в ризницу распахнулась, в комнату влетел мальчик и включил свет, хотя священник предпочитал служить без него.

– Доброе утро, отец!

– Доброе утро, Керри. Как ты, в такое прекрасное утро?

---

<sup>8</sup> «Дай, Господи» (лат.).

Если бы не волосы мальчика, гораздо более рыжие, чем у отца Кронина, Керри Макдевит вполне мог бы сойти за его кровного родственника. Пухловатое лицо мальчика было усеяно веснушками, в зеленых глазах плясали озорные искорки.

– Я в порядке, отец. Но на улице сегодня холодища. Холодно, как у ведьмы в...

– Правда? Как у ведьмы где?

– В холодильнике, – смущенно проговорил мальчик. – Холодно, как у ведьмы в холодильнике, отец. А это значит, очень холодно.

Если бы не его мрачное настроение, Брендана позабавило бы то, как ловко мальчик уклонился от невинной непристойности; но в нынешнем душевном состоянии ему не удалось выдавить из себя даже улыбку. Его молчание явно было истолковано как строгое неодобрение, потому что Керри отвел глаза и быстро исчез в закутке, где оставил пальто, шарф и перчатки и снял с вешалки сутану и стихарь.

Отец Кронин надел казулу, пропустил бечевки у себя за спиной, потом связал их спереди, чувствуя не больше эмоций, чем сварщик, надевающий спецовку перед работой. Пока руки были заняты, на него нахлынули меланхолические воспоминания о той бурной радости, с которой он когда-то исполнял любую священническую обязанность.

До прошлого августа он никогда не сомневался, что глубоко прав в своей преданности церкви. Он был таким ярым и усердным учеником, так хорошо успевал по светским и религиозным предметам, что ему предложили завершить католическое образование в Североамериканском колледже в Риме. Он полюбил священный город – его здания, его историю, его дружелюбных жителей. После рукоположения и вступления в Общество Иисуса он провел два года в Ватикане, назначенный помощником монсеньора Джузеппе Орбеллы, главного спичрайтера и советника по вопросам вероучения его святейшества папы. За такой честью могло последовать назначение на важную должность в чикагской архиепархии, но отец Кронин попросил место vikaria в небольшом или средних размеров приходе, какое получал любой начинающий священник. Таким образом, после визита в Сан-Франциско, к епископу Сантефьоре (старинному другу монсеньора Орбеллы), и отпуска, который он потратил на поездку от Сан-Франциско до Чикаго, он прибыл в приход святой Бернадетты, где с огромной радостью выполнял любые, даже самые заурядные, обязанности vikaria. Его ни разу не посетили ни сомнения, ни сожаления.

Теперь, глядя, как его служка надевает стихарь, отец Кронин затосковал по простой вере, которая так долго утешала и поддерживала его. Ушла ли она от него на время или навсегда?

Керри облачился в церковные одеяния и прошел в церковь через внутреннюю дверь ризницы. Сделав несколько шагов внутри храма, он понял, что отец Кронин не идет следом за ним, и оглянулся с недоуменным выражением на лице.

Брендан Кронин медлил. В открытую дверь он видел высокое распятие сбоку, на задней стене, и алтарное возвышение впереди. Эти самые священные части церкви казались ужасающе чужими, словно он впервые смотрел на них не предвзято. Он не мог понять, с какой стати считал это прежде священной территорией. Место как место. Не лучше и не хуже других. Если он выйдет туда сейчас, если отслужит мессу со всеми ее ритуалами и молебствиями, он будет лицемером. Он обманет прихожан.

Удивление на лице Керри Макдевита сменилось беспокойством. Мальчик посмотрел на скамьи, невидимые Брендану Кронину, потом снова на священника.

«Как я могу служить мессу, если больше не верю?» – недоумевал Брендан.

Но ему не оставалось ничего другого.

Держа в левой руке чашу для причастия, положив правую руку на корпорал и покрывало, он прижал священный сосуд к груди и наконец последовал за Керри в святилище, где Христос, как ему показалось, укоризненно взглянул на него с креста.

Как и всегда, на утреннюю службу собралось меньше сотни людей. Их лица были необыкновенно бледными и лучающимися, словно Бог не позволил истинно верующим прийти сегодня утром, а прислал делегацию строгих ангелов: пусть те видят, как кощунствует сомневающийся священник, который осмелился служить мессе, несмотря на свое падение.

Служба шла, отчаяние отца Кронина все возрастало. С того момента, как он произнес «Introibo ad altare Dei»<sup>9</sup>, каждая следующая часть службы только усиливала его страдания. Когда Керри Макдевит перенес молитвенник на другую сторону алтаря, от Посланий к Евангелию, отец Кронин был угнетен до такой степени, что чувствовал себя раздавленным. Его душевное и эмоциональное изнеможение стало настолько глубоким, что он едва мог поднимать руки, едва находил в себе силы сосредоточиться на Евангелии и бормотать строки из священного текста. Лица верующих превратились в невыразительные, мутные пятна. Добравшись до канона мессы, отец Кронин едва мог говорить, да и то шепотом. Он знал, что теперь Керри не скрываясь пялится на него, и не сомневался: прихожане тоже подозревают что-то нехорошее. Он потел, его трясло. Жуткая серость в нем стала еще темнее, потом почернела – ему казалось, что он летит, вращаясь, в пугающе темную пустоту.

Когда он взял в руку гостию, поднял ее и стал произносить пять слов, символизировавших тайну пресуществления, его вдруг обуяла злость – на себя, за то, что он не способен верить, на церковь, которая не смогла как следует защитить его от сомнений, на всю свою жизнь, которая, казалось, пошла не тем путем, была растрочена на проповедование идиотских мифов. Его гнев клокотал, накалялся, достиг точки кипения, превратился в яростный пар, в обжигающий буйный газ.

К его изумлению, у него вырвался жалкий крик, и он швырнул чашу через святилище.

Та с громким лязганьем стукнулась о стену святилища, разбрызгивая вино, отскочила, ударилась о статую Девы Марии и замерла у возвышения, с которого он только что читал Евангелие.

Потрясенный, Керри Макдевит сделал шаг назад, сто человек в нефе ахнули, но это никак не повлияло на Брендана Кронина. В ярости, которая была его единственной защитой от самоубийственного отчаяния, он широко раскинул руки и сбросил поднос с причастными облатками на пол. Издав еще один дикий крик, полный гнева и скорби, он выпростал руку из-под казулы, сорвал с шеи столу, швырнул ее на пол и бросился в ризницу. Там его ярость прошла так же неожиданно, как появилась, и он остановился в замешательстве, слегка покачиваясь.

Это было 1 декабря.

## 7

### *Лагуна-Бич, Калифорния*

В первое воскресенье декабря Доминик Корвейсис сидел вместе с Паркером Фейном за ланчем в ресторане «Лас-Брисас», в тени настольного зонта, на террасе с видом на море, сверкавшее солнечными бликами. Хорошая погода в этом году задержалась, и ветерок доносил до них крики чаек, запах моря, сладкий аромат растущего неподалеку звездчатого жасмина. Доминик рассказал Паркеру обо всех неприятных и гнетущих подробностях своей жестокой борьбы с сомнамбулизмом.

Паркер Фейн был его лучшим другом – может быть, единственным человеком в мире, которому он мог вот так открыться, хотя, на первый взгляд, у них было мало общего. Доминик был стройным, гибким, с хорошо развитой мускулатурой, Паркер – коренастым, дородным, тучным. Безбородый Доминик каждые три недели ходил к парикмахеру, а у Паркера были лохматые волосы, всклокоченная борода, кустистые брови. Казалось, он взял что-то от професси-

---

<sup>9</sup> «И подхожу к престолу Господню» (лат.).

онального борца и что-то – от битника пятидесятых годов. Доминик пил мало и быстро пьянел, тогда как ненасытность Паркера по этой части вошла в легенду, а выпить он мог невероятно много. Доминик по природе был одиночкой и трудно сходился с людьми, Паркер через час после знакомства вел себя так, словно знает собеседника сто лет. Паркеру было пятьдесят, на пятнадцать лет больше, чем Доминику. Богатый и знаменитый в течение почти четверти века, он чувствовал себя накоротке со славой и с деньгами – и совершенно не мог понять стеснения, которое испытывал Доминик, обретая деньги и известность благодаря «Сумеркам в Вавилоне». Доминик заявился на ланч в «Лас-Брисас» в удобных туфлях от Балли, темно-коричневых слаксах и коричневой, более светлой, рубашке в клетку с воротничком на пуговице. Паркер же пришел в синих теннисных туфлях, сильно помятых белых хлопчатых штанах, бело-голубой, не заправленной в штаны рубашке в цветочек: казалось, что все это надето по совершенно иному случаю, что он по чистой случайности встретился у ресторана с приятелем и по капризу решил разделить с ним ланч.

Несмотря на все их внешнее несходство, они быстро подружились, потому что в некоторых важных своих чертах были похожи. Оба были художниками не по выбору или наклонностям, а по необъяснимому влечению. Доминик живописал словами, Паркер делал это красками, и оба они подходили к своему искусству с одинаково высокими стандартами, работали самоотверженно, вкладывая в работу все свое мастерство. Более того, хотя Паркеру было легче заводить друзей, оба придавали огромное значение дружбе и лелеяли ее.

Они познакомились шесть лет назад, когда Паркер на полтора года приехал в Орегон в поисках новой природы для серии ландшафтов, – он писал их в своем уникальном стиле, успешно сочетая супрареализм с сюрреалистическими мотивами. Находясь в Орегоне, он подписал контракт с университетом Портленда на одну лекцию в месяц. Доминик работал в том же университете на кафедре английского языка.

Сейчас Паркер сидел, ссутулившись над столом, жевал начос, с которых капали сыр, соус гуакамоле и сметана. Доминик потягивал «Негра модело» и рассказывал о своих бессознательных ночных приключениях. Говорил он тихо, хотя в такой предосторожности, вероятно, не было нужды – другие клиенты громко болтали друг с другом. К начос он не притронулся. Сегодня утром он в четвертый раз проснулся за отопительным котлом в гараже, объятый ничем не объяснимым ужасом. Постоянная неспособность контролировать себя лишила его присутствия духа и аппетита. К моменту окончания своего рассказа он выпил только половину банки: даже пряное темное мексиканское пиво казалось ему в этот день пресным и несвежим.

Паркер же успел опрокинуть три двойные «маргариты» и заказать четвертую. Но алкоголь ничуть не притупил его внимания.

– Господи Иисусе, дружище, почему ты не сказал мне об этом раньше, несколько недель назад?

– Я чувствовал себя... глуповато.

– Ерунда! Чуть собачья! – гнул свое художник, отчаянно жестикулируя громадной рукой, но говоря при этом тихо.

Официант-мексиканец, уменьшенная копия Уэйна Ньютона<sup>10</sup>, принес Паркеру «маргариту» и спросил, не хотят ли они заказать ланч.

– Нет-нет, воскресный ланч – повод выпить слишком много «маргарит», а мне до «слишком много» еще ох как далеко. Какое печально-пустое препровождение времени – заказывать ланч после всего лишь четырех «маргарит»! Остаток дня будет незаполненным, мы выйдем на улицу, не зная, чем себя занять, попадем в какую-нибудь историю, привлечем внимание полиции. Господь знает что может случиться. Нет-нет. Чтобы избежать тюрьмы и сберечь репутацию, мы не должны заказывать ланч раньше трех. А пока принесите мне, пожалуйста, «марга-

<sup>10</sup> Уэйн Ньютон (р. 1942) – американский поп-певец.

риту». И еще порцию ваших великолепных начос. И сальсы погорячее, если у вас есть. И пива для моего друга, который себя прискорбно ограничивает.

– Нет, – сказал Доминик. – Я еще это не допил.

– Вот что я имел в виду, когда говорил «прискорбно ограничивает», безнадежный ты пуританин. Ты его так мусолил, что оно, вероятно, перегрелось.

В другое время Доминик откинулся бы на спинку стула и наслаждался энергичным монологом Паркера Фейна. Кипучий нрав художника, его всегдашняя жажда жизни воодушевляли и забавляли. Но сегодня Доминика одолевала такая тревога, что ему было не до смеха.

Когда официант отвернулся, солнце скрылось за небольшим облачком. Паркер, подавшись вперед под неожиданно стусившейся тенью зонта, переключил внимание на Доминика и сказал, словно читая мысли собеседника:

– Хорошо, давай устроим мозговой штурм. Давай найдем объяснение и пойдем, что делать. Ты не считаешь, что корень проблемы в стрессе... из-за грядущей публикации твоей книги?

– Я так думал. Но больше не думаю. Ну, то есть, если бы проблема была пустячной, я, наверное, согласился бы, что все дело в моем беспокойстве о судьбе книги. Но, господи боже, мои тревоги в связи с «Сумерками» не настолько велики, чтобы вызвать такое необычное поведение, такую одержимость... такое безумие. Я теперь хожу во сне почти каждую ночь, и странность не только в самой ходьбе. Я погружаюсь в невероятно глубокий транс. Лишь единицы лунатиков впадают в такое бесчувственное состояние, и мало кто из них выполняет настолько же сложные манипуляции. Вот, например, я собирался прибить гвоздями шторы на окне! Если тебя всего лишь беспокоит судьба твоей книги, ты не прибиваешь гвоздями шторы.

– Возможно, судьба «Сумерек» беспокоит тебе гораздо сильнее, чем ты думаешь.

– Нет. Невозможно. Напротив, когда книга хорошо пошла, беспокойство о ее будущем ослабло. Ты не можешь, сидя здесь, искренне говорить мне, что весь этот полуночный лунатизм идет от беспокойства о книге.

– Не могу, – согласился Паркер.

– Я заползаю в самые темные уголки, чтобы спрятаться. И когда прихожу в себя в гараже за котлом, все еще в полусне, мне кажется, будто что-то преследует, ищет меня и может даже убить, если найдет мое убежище. Пару раз я просыпался утром и пытался закричать, но никак не мог. А вчера проснулся-таки с криком: «Не подходи, не подходи, не подходи!» А сегодня утром нож...

– Нож? – сказал Паркер. – Ты не говорил про нож.

– Я снова проснулся за котлом. А в руке был разделочный нож. Я вытащил его во сне из кухонной подставки.

– Для защиты? От кого?

– От того, что... кто меня преследует.

– А кто тебя преследует?

Доминик пожал плечами:

– Никто из тех, кого я знаю.

– Мне это не нравится. Ты мог порезаться. Даже до смерти.

– Больше всего меня пугает не это.

– А что же пугает тебя больше всего?

Доминик оглядел людей на террасе. До этого некоторые заинтересовались театральным диалогом Паркера Фейна с официантом, но теперь никто не обращал ни малейшего внимания ни на него, ни на Доминика.

– Так что же пугает тебя больше всего? – повторил Паркер.

– Что я могу... могу порезать кого-нибудь.

Фейн в недоумении проговорил:

– То есть взять кухонный нож... и устроить резню во сне? Ни малейшего шанса. – Он сделал глоток. – Господи боже, что за мелодрама?! Хорошо еще, что твоя проза не сшита на живую нитку, как твои рассказы. Успокойся, мой друг. Ты не из породы убийц.

– О том, что я лунатик, я тоже не догадывался.

– Ерунда. Всему есть объяснение. Ты не сумасшедший. Психи никогда не сомневаются в своем здравомыслии.

– Думаю, мне нужно обратиться к психиатру. Пройти какое-нибудь медицинское обследование.

– Медицинское обследование – да. А поход к психиатру отложи. Это пустая трата времени. Какой из тебя неврастеник или психопат?

Официант вернулся с начос, сальсой, блюдом нарезанного лука, пивом и пятой «маргаритой».

Паркер отдал пустой стакан, взял полный. Он взял несколько начос, обильно сдобренных соусом гуакамоле и сметаной, посыпал все это луком, зачерпнув его ложкой, и принялся есть с удовольствием, близким к маниакальному восторгу.

– По-моему, эта твоя проблема как-то связана с теми изменениями, которые случились с тобой позапрошлым летом.

Доминик в недоумении спросил:

– Какими изменениями?

– Ты знаешь, о чем я. Когда мы познакомились в Портленде, ты был бледным, нелюдимым, опасливым слизняком.

– Слизняком?

– Да, и ты это знаешь. Ярким, талантливым, но слизняком. Знаешь почему? Я тебе скажу. Мозги и таланты оставались при тебе, но ты их боялся. Ты боялся конкуренции, провала, успеха, жизни. Ты хотел и дальше тащиться незамеченным. Одевался кое-как, говорил неслышно, боялся привлекать к себе внимание. Ты нашел себе убежище в мире науки, потому что там было мало конкурентов. Боже мой, старик, ты был испуганным кроликом, который вырыл себе норку и свернулся там калачиком.

– Правда? Если все было так отвратительно, какого черта ты изменил своим привычкам и завязал дружбу со мной?

– Такого черта, олух царя небесного, что я сумел увидеть тебя, настоящего тебя, за этим маскарадом. За твоей застенчивостью, за нарочитой блеклостью и маской бесцветности. Я почувствовал в тебе что-то особенное, увидел вспышки и сияние. Понимаешь, я это умею. Я вижу то, чего не видят другие. Это дано любому хорошему художнику. Он может разглядеть то, что недоступно большинству людей.

– И ты говоришь, я был бесцветным?

– Вот именно. И как художник, и как человек. Вспомни, сколько времени мы были знакомы, прежде чем ты набрался смелости и признался мне, что ты писатель? Три месяца!

– Ну, я тогда еще не был настоящим писателем.

– Твой стол был набит рассказами! Больше сотни, и ты не послал ни один из них для публикации! Ты боялся, что их не возьмут. Но еще больше ты боялся, что их примут. Боялся успеха. Сколько месяцев мне пришлось тебя долбить, пока ты не отправил пару рассказов на продажу?

– Не помню.

– А я помню. Шесть месяцев! Я улаживал тебя, уговаривал, требовал, подталкивал, ворчал, пока ты не сломался и не начал предлагать свои рассказы. Я умею убеждать, но вытащить тебя из кроличьей норы... тут даже я со своим огромным даром убеждения чуть не провалился.

Паркер зачерпывал начос и загружал их в себя со звериной прожорливостью. Шумно прихлебывая, он допил «маргариту» и сказал:

– Даже когда твои рассказы начали продаваться, ты хотел остановиться. Мне постоянно приходилось тебя подталкивать. После того как я покинул Орегон и вернулся сюда, предоставив тебя самому себе, ты предлагал рассказы только полгода. А потом опять забрался в кроличью нору.

Доминик не спорил – художник говорил правду. Уехав из Орегона и вернувшись домой в Лагуну, Паркер продолжал подбадривать Доминика – писал, звонил, – но этого оказалось недостаточно. Доминик убедил себя, что его труды все-таки недостойны публикации, хотя некоторые издатели заинтересовались ими. Он перестал посылать рассказы в журналы и быстро соорудил себе новую раковину вместо той, которую помог сломать Паркер. Но желание писать рассказы никуда не делось, и он вернулся к прежней привычке – прятать их глубоко в ящик стола, без малейшего намерения продавать. Паркер все уговаривал приятеля написать роман, но Доминик считал, что его талант слишком скромнен, что ему не хватит самодисциплины для такого большого и сложного проекта. Мягко говоря, он снова спрятал голову в песок, стал тихо говорить, тихо ходить и пытался вести жизнь невидимки.

– Но прошлым летом все вдруг изменилось, – сказал Паркер. – Ты вдруг отказываешься от преподавания. Делаешь решительный шаг и становишься писателем. Чуть ли не за один день ты расстался со своей бухгалтерской осторожностью и стал авантюристом, богемным типом. Почему? Ты так и не объяснил этого внятно. Почему?

Доминик нахмурился. Несколько секунд он размышлял над вопросом, удивляясь тому, что раньше не придавал этому особого значения.

– Не знаю почему. Правда не знаю.

В университете Портленда у него заканчивался семилетний испытательный срок, но он понимал, что постоянной профессорской должности ему не предложат, и запаниковал перед перспективой потерять надежную якорную стоянку и оказаться в открытом море. В своем желании быть как можно незаметнее он почти исчез из поля зрения тех, кто заправлял всем в кампусе. Комиссия по назначению на штатные должности стала сомневаться: в достаточной ли мере он прижился в университете, можно ли дать ему пожизненную работу? Доминик хорошо понимал: если комиссия откажет ему, найти работу в другом университете будет трудно – там захотят узнать, почему он получил отказ в Портленде. В нехарактерном для себя порыве, надеясь выскользнуть из-под университетского топора, прежде чем тот опустится, он решил заняться саморекламой и подал заявления в учебные заведения нескольких западных штатов, делая упор на публикации своих рассказов, – больше делать упор было не на что. В колледже Маунтин-Вью, штат Юта, где учились всего четыре тысячи студентов, названия этих журналов произвели такое впечатление, что они оплатили Доминику перелет из Портленда на собеседование. Пришлось приложить немало усилий, чтобы стать более общительным, чем когда-либо прежде. Ему предложили контракт на преподавание английского языка и литературного мастерства с гарантированной штатной должностью по окончании испытательного срока. Он принял предложение если не с громадным удовольствием, то по меньшей мере с громадным облегчением.

Теперь, сидя на террасе «Лас-Брисас» – калифорнийское солнце в этот момент выглянуло из-за полосы прекрасных белых облаков, – он отхлебнул пива, вздохнул и сказал:

– В тот год я покинул Портленд в конце июня. У меня был взятый напрокат небольшой автоприцеп, я загрузил туда в основном книги и одежду. Из Портленда я уезжал в хорошем настроении, не было чувства, что я потерпел там неудачу. Ничего подобного. Появилось ощущение... будто я начинаю с чистого листа. Я с нетерпением ждал начала новой жизни в Маунтин-Вью. По-моему, день отъезда из Портленда стал самым счастливым в моей жизни.

Паркер Фейн понимающе кивнул:

– Конечно ты был счастлив! Ты получил профессорскую должность в захолустном заведении, и от тебя не требовали ничего особенного, а твой интровертный характер все объясняли бы тем, что ты творческая личность.

– Идеальная кроличья нора, правда?

– Именно. Так почему же ты не сделался преподавателем в Маунтин-Вью?

– Я тебе говорил... В последнюю минуту, когда я приехал туда, во вторую неделю июля, я понял, что это невыносимо – жить той жизнью, которой я жил раньше. Я устал быть мышью, кроликом.

– В этом-то и дело: тебе надоела неприметная жизнь. Почему?

– Она меня не удовлетворяла.

– Но почему так сразу?

– Не знаю.

– Какие-то мысли у тебя ведь были. Неужели ты не думал об этом?

– Удивительно, но нет, – сказал Доминик. Он долго смотрел на море, где вдоль берега величественно двигались яхты, с десятков малых и одна большая. – Я только сейчас понял, что поразительно мало думал об этом. Странно. Обычно я слишком часто предаюсь самоанализу, аж самому противно становится, но в тот раз даже не попытался глубоко заглянуть в себя.

– Ага! – воскликнул Паркер. – Я знал, что я на правильном пути! Изменения, которые случились с тобой тогда, как-то связаны с твоими сегодняшними проблемами. Продолжай. В Маунтин-Вью ты сказал, что больше не хочешь работать у них?

– Они этому не обрадовались.

– И ты снял маленькую квартиру в городе.

– Одна комната, кухня и ванная. Тесно. Но прекрасный вид на горы.

– И решил жить на свои сбережения и писать роман?

– На моем счете было совсем немного, но я всегда вел скромный образ жизни.

– Импульсивное поведение. Риск. Ни капли на тебя не похоже, – сказал Паркер. – Почему же ты пошел на это? Что тебя изменило?

– Я думаю, это долго копилось во мне. Когда я добрался до Маунтин-Вью, неудовлетворенность стала так велика, что мне пришлось измениться.

Паркер откинулся на спинку стула:

– Не складывается, мой друг. Должно быть что-то еще. Ты сам признался, что был счастлив, как поросенок, покидая Портленд со своим прицепом. У тебя была работа, дававшая деньги на жизнь, и гарантированное профессорство в месте, где от тебя не требовали бы многого. Оставалось только обосноваться в Маунтин-Вью и исчезнуть. Но когда ты приехал туда, тебе уже не терпелось сбросить с себя этот хомут, переехать в мансарду и рискнуть ради своего искусства – а ведь тебя мог ожидать провал. Что же случилось с тобой за время долгого пути в Юту? Видно, что-то дало тебе пинок под задницу, да такой сильный, что он вышиб все твое благодушие.

– Нет. По дороге ничего не случилось.

– Если не считать того, что случилось в твоей голове.

Доминик пожал плечами:

– Насколько помню, я просто расслаблялся, наслаждался поездкой, не спешил, разглядывал пейзажи...

– Амиго! – прокричал Паркер, испугав проходившего мимо официанта. – Una<sup>11</sup> «маргарита»! И еще одну cerveza<sup>12</sup> для моего друга.

– Нет-нет, – сказал Доминик. – Я...

---

<sup>11</sup> Одна (исп.).

<sup>12</sup> Пиво (исп.).

– Ты еще с этим не закончил, – возразил Паркер. – Знаю-знаю. Но ты его допьешь, потом выпьешь еще, постепенно расслабишься, и мы дойдем до корней твоего сомнамбулизма. Уверен, это связано с изменениями, которые случились тем летом. Знаешь, почему я так уверен? Я тебе скажу. Нельзя пережить два кризиса личности за два года по совершенно разным причинам. Значит, они связаны друг с другом.

Доминик поморщился:

– Я бы не стал называть это кризисом личности.

– Не стал бы? – Паркер подался вперед, опустил косматую голову и, вкладывая в произносимые им слова всю силу своей личности, спросил: – Ты бы и вправду не назвал это кризисом личности, мой друг?

Доминик вздохнул:

– Ну... да... Пожалуй, назвал бы. Кризис.

Из «Лас-Брисас» они уехали ближе к вечеру, но ответов так и не нашли. Когда Доминик ложился спать, его переполнял страх и он спрашивал себя, где окажется утром.

А утром он вырвался из сна с пронзительными криками: он обнаружил, что находится в полной темноте, клаустрофобном мраке. Что-то держало его – холодное и липкое, странное и живое. Он ударил по нему вслепую, принялся молотить руками и царапаться, крутился, лягался, наконец высвободился, в панике пополз на четвереньках, сквозь настырную темноту, столкнулся со стеной. В черной комнате звучали оглушительные удары и крики – пугающая какофония, причину которой он не знал. Он пополз вдоль стены, уперся в перпендикулярную стену, сел спиной к углу, лицом к черной комнате, уверенный, что липкое существо прыгнет на него из мрака.

Что это было здесь, рядом с ним?

Шум стал громче: крики, удары, грохот, треск ломающегося дерева, новые крики, новый грохот.

Все еще сонный, плохо соображающий из-за паники и избытка адреналина в крови, Доминик пребывал в убеждении, что существо, от которого он прятался, наконец нашло его. Доминик пытался его обмануть – спал в гараже, за котлом. Но этой ночью оно не поддалось на обман и вознамерилось добраться до него, больше он не мог прятаться, наступил конец. Из темноты кто-то прокричал – или что-то прокричало – его имя: «Дом!» Стало понятно, что его окликают уже минуты две, а то и дольше.

– Доминик, ответь мне!

Снова неожиданный грохот. Хрупкий треск ломающегося дерева.

Доминик, скорчившийся в углу, наконец проснулся полностью. Липкое существо было его фантазией. Плодом сна. Он узнал голос – тот принадлежал Паркеру Фейну. Остатки истерического кошмара стали отступать, и тут новый треск, самый громкий из всех, породил цепную реакцию разрушения – треск-скольжение-скрежет-падение-обрушение-грохот-стук-дребезжание, и в итоге дверь распахнулась, и темноту прорезал свет.

Доминик прищурился на ярком свете, лившемся из холла, и увидел силуэт Паркера, похожего на громадного тролля, на фоне открытой двери спальни. Дверь с вечера была заперта – Паркер ударял в нее плечом, пока не выломал замок.

– Доминик, дружище, ты живой?

Ко всему прочему дверь была забаррикадирована, что еще больше усложняло проникновение в спальню. Доминик увидел, что во сне передвинул к двери туалетный столик, поставил на него две прикроватные тумбочки и подпер все это креслом. Теперь они беспорядочной грудой лежали на полу.

Паркер вошел в комнату:

– Доминик, дружище, что с тобой? Ты так орал – я слышал тебя с подъездной дорожки.

– Сон.

– Наверное, что-то из ряда вон.

– Не помню, что это было, – сказал Доминик, по-прежнему сидя в углу: он чувствовал себя слишком измотанным и слабым, чтобы вставать. – Ты мой ангел-спаситель, Паркер. Но... какого черта ты здесь делаешь?

Паркер моргнул:

– Ты что, не знаешь? Ты мне звонил. Не далее как десять минут назад. Кричал, звал на помощь. Говорил, что они здесь и не выпустят тебя живым. Потом бросил трубку.

Чувство унижения, словно мучительный ожог, накатило на Доминика.

– Значит, ты звонил во сне, – сказал художник. – Я так и подумал. Голос был... какой-то не твой. Может, следовало вызвать полицию, но я решил, что у тебя опять сомнамбулизм. Знал, что ты не захочешь предстать в таком виде перед незнакомыми людьми, перед командой копов.

– Я собой не владею, Паркер. Что-то... что-то во мне сломалось.

– Хватит этого бреда. Не желаю его больше слушать.

Доминик чувствовал себя как беспомощный ребенок. Боялся, что сейчас расплчется. Он прикусил язык, прогнал слезы, откашлялся и спросил:

– Который час?

– Начало пятого. Почти ночь еще.

Паркер посмотрел в сторону окна и нахмурился.

Следом за ним туда посмотрел и Доминик: шторы были плотно задернуты, высокий комод, передвинутый к окну, надежно загораживал его. Да, ночью он не сидел без дела.

– Черт возьми, – сказал Паркер. Подойдя к кровати, он остановился, и на его широком лице отразилось потрясение. – Нехорошее это дело, друг мой. Очень нехорошее.

Доминик, опираясь на стену, кое-как поднялся на ноги и увидел, что имеет в виду Паркер, – а когда увидел, пожалел, что поднялся. На кровати скопился целый арсенал: автоматический пистолет двадцать второго калибра, обычно лежавший в тумбочке, кухонный нож, два мясных ножа, тесак, молоток. И топорик, который Доминик использовал для откалывания щепок на растопку, – в последний раз он видел его, когда был в гараже.

– Ты к чему готовился, к советскому вторжению? Что тебя так пугает?

– Не знаю. Что-то в моих кошмарах.

– И что тебе снится?

– Не знаю.

– Ничего не помнишь?

– Нет.

Его снова пробрала дрожь.

Паркер подошел к нему и положил руку на плечо:

– Давай прими душ, оденься. Я сочиню что-нибудь на завтрак. Идет? А потом... пожалуй, съезжу к твоему доктору, как только он начнет принимать. Думаю, тебе нужно еще одно обследование.

Доминик кивнул.

Это было 2 декабря.

## Глава 2

### 2 декабря – 16 декабря

#### 1

#### *Бостон, Массачусетс*

Виола Флетчер, 58-летняя учительница начальной школы, мать двух дочерей, жена любящего мужа, женщина с заразительным смехом, теперь лежала безмолвно и неподвижно на операционном столе, под наркозом, и ее жизнь была в руках доктора Джинджер Вайс.

Вся жизнь Джинджер была воронкой с жерлом, нацеленным на эти мгновения: в первый раз она стала главным хирургом на серьезной и сложной операции. Путь к этим мгновениям пролегал через годы, полные напряженного труда, надежд и мечтаний. Она испытывала гордость и в то же время смирение, оглядываясь на пройденный путь.

И еще она чувствовала себя полуживой от страха.

Миссис Флетчер лежала под прохладными зелеными простынями в искусственном сне. Все ее тело было укрыто, кроме операционного поля – ровного квадрата покрашенной йодом плоти посреди ткани лаймового цвета. Даже лица не было видно под простыней – над ним натянули ткань, чтобы инфекция не проникла в рану, которая вскоре появится в брюшной полости. Пациент таким образом обезличивался, – вероятно, отчасти в этом и состояло назначение простыней, избавлявших хирурга от лицезрения человеческого лица в момент агонии и смерти, если, упаси господь, врачебные навыки и образование подведут его.

Справа от Джинджер стояла Агата Танди, операционная сестра, держа наготове шпатели, ранорасширители, кровоостанавливающие зажимы, скальпели и еще много чего, слева – ассистирующая медсестра. Еще одна ассистирующая сестра, дежурная сестра и анестезиолог со своей медсестрой тоже были здесь и ждали начала операции.

Джордж Ханнаби стоял по другую сторону стола и был похож не столько на доктора, сколько на бывшую футбольную звезду, фулбэка из профессиональной команды. Его жена Рита как-то раз уговорила мужа сыграть Поля Баньяна<sup>13</sup> в комедийной сценке для больничного благотворительного шоу, и он появился дома в сапогах лесоруба, джинсах и красной рубашке в клетку. Ханнаби распространял вокруг себя ауру силы, спокойствия и компетентности, и это невероятно ободряло.

Джинджер протянула правую руку.

Агата вложила в нее скальпель.

Острая, тонкая, яркая кривая света очерчивала режущую кромку инструмента.

Джинджер замерла – рука зависла над хирургическими маркерами на теле пациентки, – помедлила и сделала глубокий вдох.

Магнитофон Джорджа стоял на маленьком столике в углу, из динамиков лились знакомые звуки: Бах.

Джинджер вспоминала офтальмоскоп, блестящие черные перчатки...

Но какими бы пугающими ни были эти предметы, они не полностью уничтожили ее уверенность в себе. Оправившись после недавнего припадка, она чувствовала себя прекрасно: сильной, внимательной, энергичной. Если бы она заметила малейшую усталость или туман в голове, то отказалась бы от операции. И потом, она ведь не для того получила образование, работала по семь дней в неделю все эти годы, чтобы швырнуть свое будущее коту под хвост

---

<sup>13</sup> *Поль Баньян* – дровосек, персонаж американского фольклора.

из-за двух аберрантных случаев истерики, вызванной стрессом. Все будет хорошо, просто прекрасно.

Часы на стене показывали семь сорок две. Время начинать.

Она сделала первый надрез и пошла глубже, используя кровоостанавливающие зажимы, клипсы, со всегда удивлявшим ее безошибочным мастерством проделала проход среди кожи, жира и мышц на животе пациентки. Вскоре надрез уже мог вместить ее руки и руки ассистирующего хирурга, Джорджа Ханнаби, если бы потребовалась его помощь. Сестры приблизились к столу, каждая со своей стороны, ухватились за рукоятки ретракторов, оттянули их, раскрыли стенки раны.

Агата Танди взяла влагопоглощающую салфетку и быстро промокнула лоб Джинджер, стараясь не касаться линз ее биноккулярных операционных очков.

Глаза Джорджа над маской прищурились в улыбке. Он сейчас не потел. И вообще потел редко.

Джинджер быстро перевязала кровоточащие сосуды и убрала зажимы. Агата тем временем велела дежурной сестре дать новые материалы взамен израсходованных.

В коротких паузах между опусами Баха и в конце пленки, пока кто-нибудь из сестер не переворачивал кассету, самыми громкими звуками в отделанном плиткой помещении были шипящие выдохи и стонущие вдохи искусственных легких, дышавших за Виолу Флетчер. Пациентка не могла дышать самостоятельно, парализованная мышечным релаксантом на основе кураре. Эти звуки, совершенно механические, все же казались какими-то нездешними, не позволяя Джинджер полностью отделаться от дурных предчувствий.

Когда скальпель был в руке Джорджа, в операционной говорили больше. Он обменивался шутками с сестрами и ассистирующим ординатором, и эта болтовня ни о чем снижала напряжение, без ущерба для главной задачи. Джинджер просто не созрела для такого блестящего представления: все равно что играть в баскетбол, жевать резинку и решать сложные математические задачи одновременно.

Войдя в брюшную полость, она прошла обеими руками по прямой кишке и определила, что та не повреждена. Агата подала влажные марлевые тампоны. Джинджер подложила их под кишечный тракт, подперла похожими на тяпки ретракторами. Затем операционные сестры отодвинули внутренности в сторону, обнажая аорту, главную магистраль артериальной системы.

Аорта из грудной части туловища переходила через диафрагму в брюшную полость, протянувшись параллельно позвоночнику. Прямо над пахом она разветвлялась на две подвздошные артерии, ведущие к бедренным.

– Вот она, – сказала Джинджер. – Аневризма. Точно как на рентгенограмме. – Словно в подтверждение своих слов, она перевела взгляд на стену в изножье операционного стола: там был световой экран, куда вывели рентгеновский снимок пациентки. – Расслаивающаяся аневризма, чуть выше седла аорты.

Агата промокнула лоб Джинджер.

Аневризма, ослабление стенки аорты, привела к расширению этого кровеносного сосуда во все стороны, образовался наполненный кровью колоколообразный мешок, бившийся, как второе сердце. Это затрудняло глотание, серьезно укорачивало дыхание, вызывало сильный кашель и боли в груди, а в случае разрыва стенок сосуда смерть наступала почти мгновенно.

Джинджер смотрела на пульсирующую аневризму, охваченная чуть ли не религиозным ощущением таинства, искренним восторгом, словно она покинула реальность и оказалась в мистическом мире, где перед ней вскоре должен был открыться смысл жизни. Понимание того, что она может бросить вызов смерти и победить, рождало ощущение власти, превосходства. Смерть таилась в теле пациентки в форме пульсирующей аневризмы, темной почки, приготовившейся расцвести, но у Джинджер было достаточно знаний и опыта, чтобы одержать над ней верх.

Агата Танди достала из стерильного пакета секцию искусственной аорты из дакрона – плотную рифленую трубку, расходящуюся на две более тонкие подвздошные артерии. Джинджер расположила имплантат над разрезом, подровняла его небольшими острыми ножницами и вернула сестре. Агата положила белый имплантат на неглубокий поднос из нержавеющей стали, куда уже слили немного крови пациентки, и прополоскала его, чтобы он хорошо пропитался.

Имплантат должен был напитываться кровью, пока не начнется свертывание. Когда он будет вставлен в кровеносную систему пациентки, Джинджер прогонит по нему немного крови, потом перекроет кровоток, чтобы кровь свернулась еще немного, промоет и пришьет имплантат. Тонкий слой свернувшейся крови предотвратит инфильтрацию, а со временем устойчивый поток крови образует неоинтиму, новую непроницаемую подкладку, почти неотличимую от ткани реальной артерии. Дакроновый сосуд не только заменял поврежденную часть аорты, и вполне успешно, но и превосходил естественный материал. Через пять веков, когда от Виолы Флетчер не останется ничего, кроме праха и траченных временем костей, дакроновый имплантат будет все таким же гибким и прочным.

Агата промокнула лоб Джинджер.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил Джордж.

– Отлично, – ответила Джинджер.

– Напряжение?

– Не так чтобы очень, – солгала она.

– Наблюдать за вашей работой, доктор, сплошное удовольствие.

– Согласна, – сказала одна из операционных сестер.

– И я, – добавила вторая.

– Спасибо, – с удивлением и радостью отозвалась Джинджер.

– В вашей манере есть некое изящество, – сказал Джордж, – легкость прикосновения, удивительная чуткость руки и глаза, которые, к сожалению, не так уж часто встречаются в нашей профессии.

Джинджер знала, что он никогда не произносит неискренних комплиментов, но в устах такого строгого надзирателя это все же походило на чрезмерную лесть. Господи боже, Джордж Ханнаби гордился ею! Осознание этого наполнило ее теплом. Будь Джинджер в другом месте, ее глаза увлажнились бы, но здесь, в операционной, она жестко обуздывала свои чувства. Однако по силе своей реакции она поняла, насколько полно он выполнил роль отца в ее жизни; его похвалу она воспринимала почти с такой же радостью, с какой восприняла бы похвалу от самого Джейкоба Вайса.

Настроение Джинджер улучшилось, и она продолжила операцию. Тревога по поводу приступа отступила на задний план, укрепившаяся уверенность позволила ей работать с еще большим изяществом, чем прежде. Теперь она не сомневалась: все закончится хорошо.

Она приступила к методическому перенаправлению потока крови, осторожно обнажая и на время зажимая один за другим все ответвляющиеся сосуды, использовала тонкие эластичные петли чрезвычайно гибких трубок для перекрытия более мелких сосудов, с помощью зажимов «москит» и «бульдог» останавливала кровь в крупных артериях, включая подвздошные и саму аорту. Меньше чем через час поток крови, шедший через аорту в ноги пациентки, прекратился, и пульсирующая аневризма прекратила свое издевательское подражание сердцу.

Джинджер рассекла аневризму небольшим скальпелем и выпустила кровь. Аорта сдвинулась, и Джинджер разрешила ее вдоль передней стенки. В этот момент аорта у миссис Флетчер отсутствовала, пациентка, совсем беспомощная, как никогда, зависела от хирурга. Теперь вернуться назад было невозможно. С этого мгновения операцию следовало вести с величайшей осторожностью, но при этом достаточно быстро.

В операционной воцарилась полная тишина. Разговоры полностью прекратились. Кассета с Бахом закончилась, но никто ее не перевернул. Время измерялось сопением и шипением искусственных легких и писком электрокардиографа.

Джинджер взяла дакроновый имплантат со стального подноса – тот пропитался кровью, уже в достаточной мере свернувшейся, – и, пользуясь тончайшими нитями, вшила верх имплантата в аортальный ствол. Когда верхушка имплантата была вшита, а неприкрепленный низ перекрыт, Джинджер наполнила его кровью, чтобы и там началось свертывание.

На этих этапах операции промокать лоб Джинджер было не нужно. Она надеялась, что Джордж заметил отсутствие пота на ее лице... конечно заметил.

Дежурная медсестра без подсказки подошла к магнитофону и включила Баха.

Джинджер предстояли еще часы работы, но она без усталости продвигалась вперед. Она сместилась к ногам, сдвинула зеленые простыни, обнажив оба бедра пациентки. С помощью дежурной сестры Агата пополнила инструментальный поднос и теперь была готова подать Джинджер все, что той могло понадобиться для двух новых разрезов – по одному на каждой ноге, под паховыми связками, где ноги соединялись с туловищем. Джинджер перекрывала и перевязывала сосуды, обнажив и отделив бедренные артерии. Как и в случае с аортой, она использовала тонкие эластичные трубки и всевозможные зажимы, чтобы перекрывать поток крови, потом вскрыла обе артерии там, где к ним должны были подойти разветвленные отростки имплантата. Пару раз она поймала себя на том, что радостно мурлычет под музыку. Легкость, с которой шла работа, наводила на мысль, что и в прошлой жизни она была хирургом, а теперь, после реинкарнации, снова вступила в элитное братство кадуцея, поскольку судьба предопределила ее призвание.

Но ей стоило бы помнить афоризмы отца, собранные им крупницы мудрости, которые он понемногу передавал ей, терпеливо наставляя дочь, когда та вела себя неидеально или не получала высшую оценку. «Время никого не ждет». «Господь помогает тем, кто помогает себе сам». «Сэкономленный грош – заработанный грош». «Гнев вредит только тем, кто гневается». «Не суди – и не судим будешь». У него были тысячи подобных изречений, но одно он любил больше всего и повторял чаще других: «Гордыня ведет к катастрофе».

Ей следовало запомнить эти слова. Операция шла так хорошо, она была так довольна своей работой, так гордилась своим первым самостоятельным полетом, что забыла о возможной катастрофе.

Вернувшись к вскрытой брюшине, она сняла зажим с нижней части дакронового имплантата, завела два его отростка под нетронутую плоть паха, под паховые связки и в разрезы, сделанные в бедренных артериях. Вшив оба отростка, она сняла зажимы с сосудов и с удовольствием отметила, что залатанная аорта пульсирует, как раньше. Двадцать минут она отыскивала места утечки крови и зашивала их тончайшей прочной нитью. Еще пять минут она молча, внимательно смотрела на имплантат, пульсировавший как нормальный, здоровый артериальный сосуд без малейших признаков фильтрации.

Наконец она сказала:

– Время зашивать.

– Прекрасная работа, – заметил Джордж.

Джинджер порадовалась, что у нее на лице хирургическая маска и никто не видит ее растянувшихся в широкой идиотской улыбке губ.

Она закрыла разрезы на ногах пациентки, взяла внутренности у сестер (которые явно устали и поспешили отпустить ретракторы), вставила их, аккуратно прошлась руками по кишкам еще раз – нет ли отклонений? Все было в порядке. Остальное не составляло труда: она передвинула обратно жировые отложения и мышцы, закрыла их кожей, принялась накладывать шов, и наконец первичный разрез был зашит прочным шовным материалом черного цвета.

Сестра анестезиолога сняла простыню, закрывавшую лицо Виолы Флетчер.

Анестезиолог снял наклейки с глаз, отключил подачу анестезирующего средства.

Дежурная сестра выключила Баха посреди такта.

Джинджер посмотрела на лицо миссис Флетчер: бледное, но не сильно осунувшееся. Маску аппарата искусственного дыхания пока не сняли, но подавали через нее только кислородную смесь.

Сестры отошли от стола и теперь стаскивали с рук перчатки.

Веки Виолы Флетчер вздрогнули, она застонала.

– Миссис Флетчер? – громко позвал анестезиолог.

Пациентка не ответила.

– Виола? – позвала ее Джинджер. – Вы меня слышите, Виола?

Глаза женщины не открылись. Она скорее спала, чем бодрствовала, но все же ответила заплетающимся языком:

– Да, доктор.

Джинджер приняла поздравления от всей команды и вышла из операционной вместе с Джорджем. Они стащили с рук перчатки, сняли маски, колпаки. У Джинджер было ощущение, будто ее наполнили гелием и она вот-вот преодолеет земное тяготение. Но пока она шла к раковинам в хирургическом зале, эта легкость исчезала. Огромная усталость придавила ее. Шея и плечи болели. Спина ныла. Ноги едва двигались, стопы стонали от напряжения.

– Боже мой, – сказала она, – я с ног падаю от усталости!

– Иначе и быть не может, – ответил ей Джордж. – Вы начали почти без четверти восемь. А теперь уже и время ланча позади. Постановка аортального клапана – дьявольски трудоемкая операция.

– И вы тоже себя так чувствуете, когда все позади?

– Конечно.

– Но меня усталость настигла как-то неожиданно. Там я чувствовала себя прекрасно. Мне казалось, я еще не один час продержусь.

– Там, – сказал Джордж с явной симпатией и удовольствием, – вы были подобны богине, боролись со смертью и победили, а боги никогда не устают. Работа бога слишком приятна, чтобы уставать от нее.

Подойдя к раковинам, они включили воду, сняли операционные халаты, надетые поверх зеленых больничных, вскрыли пачки мыла.

Джинджер начала мыть руки, устало прижимаясь к раковине и чуть наклоняясь над ней, смотря прямо в сливное отверстие, на воду, вихрящуюся в чаше из нержавеющей стали, на пузырьки пены, крутящиеся в воде, смотрела, как все это собирается в воронку к стоку, вращается, вращается, устремляется вниз, вниз, вниз... На этот раз иррациональный страх поразила и переполнил ее еще внезапно, чем в кулинарии Бернштейна или в кабинете Джорджа в прошлую среду. В мгновение ока все ее внимание полностью переключилось на водосток, который, казалось, пульсировал и расширялся, словно им вдруг завладела некая злокозненная сущность.

Она уронила мыло, вскрикнула от ужаса, отскочила от раковины, столкнулась с Агатой Танди, снова вскрикнула. Как в тумане услышала голос Джорджа, звавший ее. Но голос уже угасал, как гаснет изображение на экране кинотеатра, отступая в туман. Он словно был частью сцены, которая перешла в панорамную съемку пара, или облака, или тумана, и больше не казался реальным. Агата Танди, коридор, двери в хирургическое отделение – все это тоже меркло. Меркло все, кроме раковины, которая росла, становилась все более осязаемой, сверхреальной. Пришло ощущение смертельной опасности. Бога ради, это же обычная раковина, надо держаться этой истины, ухватиться за эту глыбу реальности и противиться силам, которые тащат ее к краю пропасти. Всего лишь раковина. Всего лишь сливное отверстие. Всего лишь...

Она побежала. Туман наступал со всех сторон, скрывая ее, и она перестала отдавать себе отчет в своих действиях.

Первое, что она увидела, придя в себя, – это снег. Крупные белые хлопья летели мимо ее лица, неторопливо переворачивались, лениво вихрясь, падали на землю, как семена одуванчиков на парашютах, потому что ветра не было. Она подняла голову, посмотрела на стены старых высоток вокруг, увидела прямоугольную полосу низкого серого неба, с которого падал снег. И стала смотреть на зимние небеса, не понимая, где она, в каком состоянии. Волосы и брови побелели от снега. Снежинки таяли на ее лице, но она понемногу осознавала, что щеки уже влажны от слез и она все еще тихо плачет.

Постепенно холод стал донимать ее. Ветра не было, но воздух кусался, обжигал щеки, клевал подбородок, руки онемели от холодного яда бесчисленных укусов. Холод проникал сквозь зеленый больничный халат, ее трясло.

Потом она почувствовала ледяной бетон под собой, ледяную кирпичную стену за своей спиной и втиснулась в угол, лицом наружу, подтянув колени к груди, обхватив ноги руками от страха и желания защитить себя. Тепло уходило через все точки, где тело соприкасалось с землей и зданием, но у нее не было ни сил, ни воли подняться на ноги и войти внутрь.

Она помнила, как заморозили ее сливное отверстие и раковина. С безутешным отчаянием вспомнила о своей безумной панике, о столкновении с Агатой Танди, об испуге на лице Джорджа Ханнаби, когда он услышал ее крик. Больше она не помнила ничего, но предполагала, что вела себя как сумасшедшая, убегая от вымышленных опасностей, под изумленными взглядами коллег, к неминуемому краху своей карьеры.

Она сильнее прижалась к кирпичной стене – пусть та побыстрее заберет все тепло из тела.

Она сидела в конце широкого служебного проезда, который вел к центру больничного комплекса. За двойными металлическими дверями находилась котельная, рядом был выход с пожарной лестницы.

Конечно же, ей вспомнилась встреча с грабителем в Нью-Йорке, когда она проходила интернатуру в больнице при Колумбийском университете. Тем вечером грабитель затащил ее в проулок, похожий на этот. Но в нью-йоркском проулке она контролировала ситуацию и вышла победителем, а здесь стала лузером – слабая и потерянная, та, у которой все идет под гору, а не в гору. Здесь была мрачная ирония и пугающая симметрия: пережить худший момент своей жизни в таком месте.

Студенчество, медицинская школа, долгие часы и трудности интернатуры, вся работа, все жертвы, все надежды и мечты – все впустую. В последнюю минуту, когда карьера хирурга стала почти реальностью, она подвела Джорджа, Анну, Джейкоба и себя саму. Она больше не могла отрицать истину или игнорировать очевидное. С ней что-то не так, катастрофически не так, и это «не так», безусловно, исключает занятия медициной. Психоз? Опухоль мозга?

Может быть, аневризма в мозгу?

Дверь на пожарную лестницу заскрежетала и заскрипела из-за несмазанных петель, распахнулась, и на снег, тяжело дыша, ступил Джордж Ханнаби. Он сделал несколько быстрых шагов по проезду, не обращая внимания на опасность ходьбы по скользкому свежему снегу толщиной в четверть дюйма. Вид Джинджер так потряс его, что он замер на месте. Лицо Ханнаби исказилось от ужаса, и Джинджер предположила, что он сожалеет о бесполезной трате времени и внимания, о том, что наставлял и опекал ее. Он считал ее особенно яркой, хорошей и достойной, а она его подвела. Он был так добр с ней, так поддерживал ее, а она не оправдала доверия, пусть и не намеренно; это рождало в ней ненависть к самой себе, заливало глаза горячими слезами.

– Джинджер? – спросил он слабым голосом. – Джинджер, что случилось?

В ответ она смогла издать лишь произвольный горький всхлип.

Сквозь слезы Джордж виделся мутным, подрагивающим. Ей хотелось, чтобы он ушел, оставил ее переживать это унижение. Неужели он не понимает: когда она, находясь в таком состоянии, ощущает на себе его взгляд, ей становится только хуже?

Снег пошел сильнее. В дверях, из которых вышел Ханнаби, появились другие люди, но она не узнавала их.

– Джинджер, пожалуйста, поговорите со мной, – сказал Джордж, приближаясь к ней. – Скажите, что случилось. Скажите, что я могу сделать.

Она прикусила губу и постаралась проглотить слезы, но зарыдала еще сильнее. Тонким, плачущим голосом, который вызывал у нее отвращение, будучи признаком слабости, она сказала:

– С-со мной что-то не так.

Джордж наклонился над ней:

– Что? Что не так?

– Не знаю.

Она всегда справлялась с трудностями на своем пути без посторонней помощи. Она была Джинджер Вайс. Она была другой. Золотой девочкой. И не знала, как просить о помощи такого рода и такой сложности.

Наклонившись к ней, Джордж сказал:

– Что бы это ни было, мы справимся. Я знаю, вы очень гордитесь тем, что всегда уверены в своих силах. Вы меня слушаете, девочка? Я всегда старался быть вдвойне осторожным с вами, зная, что вы не примете слишком навязчивой помощи. Вы все хотите делать сами. Но теперь вам одной не справиться, да это и не нужно. Я здесь, с вами, и, господь свидетель, вы непременно обопретесь о меня, нравится вам это или нет. Вы меня слышите?

– Я... я все погубила... Я не оправдала в-ваших ожиданий...

Он сумел улыбнуться:

– Нет, дорогая моя девочка. Ни в коем случае. У нас с Ритой – одни сыновья, но будь у нас дочь, я бы хотел, чтобы она походила на вас. Была точно такой, как вы. Вы необыкновенная женщина, доктор Вайс, дорогая моя, необыкновенная женщина. Не оправдали моих ожиданий? Невозможно. Я буду считать для себя честью и удовольствием, если вы обопретесь о меня, как если бы были моей дочерью, и позвольте мне помочь вам так, словно я отец, которого вы потеряли.

Он протянул ей руку.

Она схватила ее и крепко сжала.

Был понедельник, 2 декабря.

Лишь через много недель она узнает, что другие люди в других местах, совершенно ей незнакомые, стали жертвами кошмаров, похожих на ее собственный, – таких же жутких.

## 2

### *Трентон, Нью-Джерси*

За несколько минут до полуночи, когда Джек Твист открыл дверь склада и вышел навстречу слякоти и ветру, из серого «форда» – фургона, стоявшего у ближайшей загрузочной рампы, появился какой-то тип. Джек не услышал, как подъезжает фургон, из-за грохота проходившего мимо товарного поезда. Вокруг склада стоял густой мрак, если не считать жалких пятен тусклого желтого света от грязных, блеклых фонарей. К несчастью, один из них находился прямо над дверями, через которые вышел Джек, и его болезненный свет доставал до пассажирской дверцы фургона, откуда появился неожиданный посетитель.

У него было лицо как из разыскного фотоальбома: тяжелая челюсть, щель, служившая ртом, нос, который не раз ломали, жесткие пороссячи глазки. Один из тех послушных, безжа-

лостных садистов, которые работали костоломами в бандах; в другие времена такие, как он, орудовали в армии Чингисхана, насильничая и мародерствуя, становились нацистскими головорезами с ухмылочкой на губах, мастерами пыточных дел в сталинских лагерях смерти, морлоками из будущего, выведенными Уэллсом в «Машине времени». Джек увидел в нем серьезную проблему.

Они напугали друг друга, поэтому Джек не поднял свой пистолет и не выпустил в улюбка пулю тридцать восьмого калибра, хотя должен был сделать это незамедлительно.

– Ты кто такой, черт побери? – спросил морлок. Потом увидел полотняную сумку, которую Джек нес в левой руке, и опущенный пистолет в правой. Его брови взлетели вверх, и он крикнул: – Макс!

Максом, вероятно, был водитель фургона, но Джек не стал дожидаться формальных представлений. Он быстро вернулся на склад, захлопнул дверь и отступил в сторону на тот случай, если кто-нибудь решит потренироваться в прицельной стрельбе.

Свет внутри склада шел только из ярко освещенного кабинета в его дальнем конце и из расположенного на потолке ряда широко разнесенных лампочек в жестяных колпаках, горевших всю ночь. Но Джеку этого хватало, чтобы видеть лица своих товарищей – Морта Герша и Томми Суна, – которые шли следом за ним. Выглядели они вовсе не такими радостными, как минуту-другую назад.

Радостными – потому что успешно ограбили принадлежащий мафии крупный пункт перевалки денежной наличности, точку сбора наркотических денег с половины штата Нью-Джерси. Дюжина курьеров привозила на склад, обычно по воскресеньям и понедельникам, набитые наличностью чемоданы, сумки для авиапутешествий, картонные коробки, пенопластовые контейнеры для охлажденных продуктов. По вторникам бухгалтеры мафии в костюмах от Пьера Кардена прибывали для подсчета прибыли фармацевтического отдела. Каждую среду чемоданы, полные туго перевязанных пачек «зеленых», отправлялись в Майами, Вегас, Нью-Йорк и другие финансовые центры, а там инвестиционные консультанты с гарвардскими или колумбийскими дипломами по заданию мафии – или «фрателланца»<sup>14</sup>, как преступники называли себя, – пускали их в дело. Джек, Морт и Томми просто вклинились между бухгалтерами и финансовыми советниками и взяли себе четыре тяжелые сумки с наличкой.

– Считайте нас еще одним звеном посредников, – сказал Джек троим раскаленным от злости громилам, которые сейчас лежали связанные в кабинете.

Морт и Томми рассмеялись.

Теперь Морт уже не смеялся. Ему перевалило за пятьдесят, он успел нарастить животыковку, приобрел сутулость и лысину. На нем были темный костюм, шляпа с загнутыми вверх полями и серое пальто. Темный костюм и шляпу он носил всегда, серое пальто – от случая к случаю. Ни в чем другом Джек его не видел. Сегодня на Джеке и Томми были джинсы и стеганые синтетические куртки, а Морт напоминал парня, мелькающего на заднем плане в каком-нибудь старом фильме с Эдвардом Робинсоном<sup>15</sup>. Поля его фетровой шляпы утратили острую кромку и стали мягковатыми, как и сам Морт в мятом костюме. Его голос звучал устало и кисло.

– Кто там? – спросил он, когда Джек захлопнул дверь и поспешил отступить в сторону.

– Как минимум два чувака в фордовском фургоне, – ответил Джек.

– Мафия?

– Я видел только одного, – сказал Джек, – но выглядит он как результат не самого удачного эксперимента доктора Франкенштейна.

– Хорошо хоть все двери заперты.

<sup>14</sup> *Фрателланца* (от *ит. Fratellanza*) – братство.

<sup>15</sup> *Эдвард Робинсон* (1893–1973) – американский актер, игравший главным образом в криминальных драмах.

– У них наверняка есть ключи.

Все быстро отошли от входа в глубокую тень – в проход между рядами деревянных ящиков и картонных коробок на поддонах. Вокруг них высились двадцатифутовые стены, сложенные из товаров. Склад был огромным. Здесь, под сводчатыми потолками, хранилось много чего: сотни телевизоров, микроволновки, смесители, тысячи тостеров, запасные части для тракторов, сантехнические детали, кухонные комбайны и бог знает что еще. Содержащийся в порядке, хорошо управляемый склад ночью – как и любое гигантское промышленное здание после ухода рабочих – приобретал призрачный вид. Странное шепчущее эхо гуляло по лабиринтам проходов. Снаружи усилился мокрый снег: шуршал, пощелкивал, тарабанил, шипел на черепичной крыше, словно множество неизвестных существ передвигались по балкам и внутри стен.

– Я тебе говорил, не надо злить мафию, – сказал Томми Сун, американец китайского происхождения лет тридцати, на семь лет моложе Джека. – Ювелирные магазины, бронированные машины, даже банки – нет проблем, но только, бога ради, не мафия. Глупо наносить удар по мафии. Все равно что войти в бар, набитый морскими пехотинцами, и плюнуть на флаг.

– Ты-то здесь, – заметил Джек.

– Ну да, – ответил Томми, – я не всегда логичен в суждениях.

Морт сказал безнадежным, обреченным тоном:

– Если в такое время появляется фургон, это может означать только одно: они приехали с какой-нибудь чумой вроде коки или героина. А значит, там не только водила и обезьяна, которую ты видел. Сзади, в кузове, должны быть еще два чувака с «узи» или чем-нибудь помощнее.

– Почему они не прорываются сюда с огнем? – спросил Томми.

– Насколько им известно, – ответил Джек, – нас десять человек с гранатометами. Они будут действовать осторожно.

– На машине, доставляющей наркотики, непременно есть радиосвязь, – сказал Морт. – Они уже вызвали поддержку.

– Хочешь сказать, у мафии есть фуруны с рациями, точно у какой-нибудь гребаной телефонной компании? – спросил Томми.

– Сегодня это устроено так же, как любой бизнес, – объяснил Морт.

Они прислушивались – не раздадутся ли на дальних подступах к зданию звуки, говорящие о том, что кто-то целенаправленно приближается к ним? – но слышали только стук мокрого снега по крыше.

Пистолет тридцать восьмого калибра в руке Джека внезапно показался игрушкой. У Морта был «смит-вессон М-39» калибра девять миллиметров, у Томми – «смит-вессон» модели 19 «комбат магнум», который он засунул под куртку, когда люди в кабинете были надежно связаны и все трое решили, что опасная часть работы завершена. Все они были хорошо вооружены, но противостояние людям с «узи» не сулило ничего хорошего. Джек вспомнил старые документальные фильмы, в которых безнадежно проигравшие венгры атаковали русские танки камнями и палками. В трудные моменты Джек Твист был склонен драматизировать свое положение и независимо от ситуации представлять себя в роли благородной жертвы, сражающейся с силами зла. Он знал за собой эту склонность и считал ее самым симпатичным своим качеством. Сейчас они оказались в таком опасном положении, что драматизировать его было затруднительно.

Поразмыслив, Морт, видимо, пришел к таким же выводам, потому что сказал:

– Попытка выбраться через одну из задних дверей ничем хорошим не кончится. Они уже разделились. Двое держат под прицелом передние двери, еще двое – задние.

Эти двери – как обычные, так и ворота грузовых отсеков – были единственными путями отхода. Огромное сооружение не имело ни отверстий, ни окон или вентиляционных ходов по

бокам, ни подвалов – а значит, ни подвальных выходов, ни хода на крышу. Готовясь к ограблению, они изучили подробный план здания и теперь понимали, что оказались в ловушке.

– Что будем делать? – спросил Томми.

Вопрос был обращен к Джеку Твисту, а не к Морту, потому что организатором ограбления, в котором Томми принял участие, был Джек. Случилось непредвиденное событие, требовавшее импровизации, и от Джека ожидали блестящих идей.

– Слушайте, – сказал Томми в попытке предложить блестящую идею, – а почему бы нам не выйти тем же путем, каким мы вошли?

Они проникли в здание, используя разновидность троянского коня, – другого способа преодолеть изолированную систему безопасности, включавшуюся по ночам, не было. Склад служил прикрытием для нелегальной наркоторговли, но он был к тому же реальным, функционирующим, прибыльным складом. Сюда регулярно свозилась на временное хранение продукция законно работавших предприятий, когда случалось затоваривание. Поэтому Джек, пользуясь домашним компьютером и модемом, вошел в компьютерные системы склада и одного из его солидных клиентов и создал электронный файл, предписывающий доставить громадный короб, который привезли этим утром, выгрузили и разместили согласно инструкции. Джек, Морт и Томми находились внутри короба, который имел пять скрытых выходов: они могли выйти из него, даже будучи заблокированы с четырех сторон другими грузами. Тем вечером, вскоре после одиннадцати, они вышли и застали врасплох сидевших в кабинете крутых ребят, уверенных в своей эшелонированной охранной системе, которая заблокировала двери и превратила склад в неприступную крепость.

– Мы можем забраться в короб, – предложил Томми, – а когда они войдут и не обнаружат нас, то свихнутся, пытаясь понять, как мы отсюда выбрались. Завтра к вечеру накал страстей спадет, мы выберемся из короба, а потом и со склада.

– Не пройдет, – мрачно сказал Морт. – Они сообразят, что мы здесь. Будут искать, пока не найдут.

– Не пройдет, Томми, – согласился Джек. – Вот что я попрошу вас сделать...

Он быстро составил план бегства, и все трое тут же приступили к его выполнению.

Джек и Морт потащили четыре тяжелые сумки с деньгами к южному выходу из длинного здания. Сухой звук волочения сумок по бетонному полу эхом отдавался в морозном воздухе. В дальнем конце здания находились товары, подготовленные к отправке, – здесь, на внутренней перевалочной парковке, стояли машины, которые утром следовало загрузить первым делом. Джек и Морт не прошли и половины пути по лабиринту – до машин оставалось полквартила, если мерить в городских кварталах, – когда тусклый свет на складе погас и все погрузилось в непроницаемую тьму. Пришлось ждать, пока Джек не включит свой фонарик, после чего они смогли двинуться дальше.

Держа в руке фонарик, Томми присоединился к ним и взял у Морта одну из сумок.

Стук мокрого снега по крыше начал понемногу стихать, по мере того как буря шла на убыль, и Джеку показалось, что он услышал снаружи скрежет тормозов. Неужели подкрепление прибыло так быстро?

В загрузочной зоне склада стояли четыре фуры: «питербилт», «уайт» и два «мака», все – передом к воротам погрузочной площадки.

Джек подошел к ближайшему «маку», бросил свою сумку с деньгами, встал на подножку, открыл дверцу, осветил фонариком приборную панель. Из замка зажигания торчали ключи. Он ожидал этого. Служащие склада не сомневались в эшелонированной системе защиты, не верили, что им грозит опасность и один из грузовиков ночью могут угнать.

Джек и Морт осмотрели другие машины. То же самое – ключи в замках зажигания. Они завели двигатели.

В кабине первого «мака» за сиденьями имелось спальное место: один из дальнобойщиков мог спать, пока за рулем сидит его напарник. Томми Сун положил туда четыре сумки с деньгами.

Когда Джек вернулся в «мак», Томми только что закончил загружать сумки. Джек сел за руль и выключил свой фонарик. Морт сел на пассажирское место. Джек завел двигатель, но фары включать не стал.

Теперь двигатели всех четырех грузовиков шумно работали на холостом ходу.

Томми с фонариком в руке побежал к самым дальним из четырех подъемных дверей внутренней погрузочной зоны, нажал кнопку, и дверь медленно поползла вверх. Джек со своего высокого сиденья внимательно наблюдал за тем, как ворота неторопливо поднимаются. Томми поспешил назад, его продвижение вдоль наружной стены можно было отследить по прыгающему лучу фонарика, правой рукой он на бегу нажимал кнопки подъема ворот. Выключив фонарик, он бросился к «маку», и все четыре двери медленно поползли вверх со скрежетом и стуком.

Морлоки снаружи знали одно: ворота поднимаются, двигатели работают. Но они видели только темноту внутри склада и, пока там не было света, не могли знать, какой из грузовиков предназначен для бегства. Они могли изрешетить все четыре из своих автоматов, но Джек рассчитывал выиграть несколько драгоценных секунд, прежде чем противники прибегнут к этому крайнему средству.

Томми забрался в кабину «мака» и захлопнул за собой дверцу, Морт оказался зажат между ним и Джеком.

– Чертовы ролики, как медленно крутятся, – сказал Морт, глядя на неспешно двигающиеся к потолку ворота, за которыми постепенно открывалась исхлестанная мокрым снегом ночь.

– Пробей их к дьяволу, – предложил Томми.

Джек пристегнул ремень безопасности и сказал:

– Не буду рисковать. Эти ворота могут поставить нас на дыбы.

Ворота открылись на одну треть.

Джек, ухвативший баранку двумя руками, увидел какое-то движение в темном снежном мире, где несколько тусклых наружных фонарей почти не рассеивали ночную мглу. По мокрому, обледеневшему асфальту слева направо, скользя и спотыкаясь, пробежали двое вооруженных людей, в руках одного, кажется, был «узи». Они пригибались, чтобы не стать хорошей мишенью, и в то же время, стараясь не упасть, кидали взгляды в сторону черного пространства склада за поднимающимися дверями, но пока не решались открыть беспорядочную пальбу.

Первая дверь – та, что была перед Джеком, – поднялась уже наполовину.

В этот же момент слева, откуда выбежали двое в капюшонах, появился серый «форд»; его покрышки срывали серебристые перья с наледи. Вихляя, машина остановилась между вторым и третьим пандусом, заблокировав выезды. Ее передние колеса были подняты на нижний край третьего пандуса, так что фары высвечивали четвертый подъезд и кабину грузовика, явно пустую.

Ворота перед Джеком поднялись на две трети.

– Пригнитесь! – приказал он.

Морт и Томми пригнулись как можно ниже, Джек тоже склонился над рулем. Тяжелая панель, состоящая из множества отсеков, еще не до конца убралась, но он подумал, что при небольшом везении проскользнет наружу. Он быстро отпустил педали тормоза и сцепления и нажал на газ.

Как только «мак» тронулся с места, те, кто находились снаружи, поняли, что прорыв совершается через первые ворота, и тишину ночи нарушила автоматная очередь. Проехав

ворота и направив машину вниз по бетонному пандусу, Джек слышал, как пули попадают в «мак». Но ни одна из пуль не пробила кабину и не разбила лобового стекла.

Еще один фургон – «додж» – появился у подножия склона, пытаясь преградить им путь. Подкрепление действительно прибыло. Джек не стал тормозить, а вместо этого прибавил газа, мчась вниз по пандусу, и усмехнулся при виде искаженных ужасом лиц людей в «додже»: массивная решетка радиатора ударила по их машине. От удара фургон отбросило так, что он перевернулся набок и проскользил футов пятнадцать-двадцать по щебню.

От удара Джек резко дернулся, но ремень безопасности удержал его. Морта и Томми тоже швырнуло вперед, на нижнюю часть приборной панели, в тесное пространство внизу. Они вскрикнули от боли и злобы.

Чтобы осуществить этот маневр, Джек был вынужден спуститься по пандусу быстрее чем следовало, и теперь, когда он попытался свернуть влево, на полосу, уводившую прочь от склада, машина накренилась и стала вилять, угрожая сделаться неуправляемой или перевернуться, как «додж». Джек выругался, изо всех сил вцепился в руль, выровнял грузовик. Это потребовало от него таких усилий, что ему показалось: еще немного – и руки вырвет из плеч. Наконец он вырулил на полосу.

Впереди он увидел троих, стоявших у темно-синего «бьюика»; по меньшей мере двое были вооружены. Джек направил машину на них, и те открыли огонь. Один целился слишком низко, пули высекали искры из решетки радиатора в верхней ее части. Другой стрелок направил ствол слишком высоко – его пули от ricochetили от козырька над лобовым стеклом. Один из двух пневматических гудков оторвался, упал, ударился об окно, повис на проводах. Джек уже почти добрался до «бьюика», и бандиты поняли, что он собирается его сбить, поэтому прекратили стрелять и бросились врассыпную. Джек вел громадную машину, как танк, и ударил «бьюик» в бок, отчего легковушку отбросило в сторону. Он продолжил движение, оставил позади склад, приблизился к другому, миновал и его, продолжая ускоряться.

Морт и Томми со стонами уселись обратно на сиденье. Обоим досталось. У Морта из носа шла кровь, у Томми была рассечена бровь, но серьезных повреждений никто не получил.

– Почему любая операция идет наперекосяк? – мрачно спросил Морт гнусавым из-за разбитого носа голосом.

– Ничего не пошло наперекосяк, – возразил Джек, включив дворники, чтобы сбросить сверкающие снежинки с лобового стекла. – Просто все оказалось чуть более нервным, чем мы предполагали.

– Ненавижу нервничать, – сказал Морт, поднося платок к носу.

Джек посмотрел в боковое зеркало на оставшийся позади склад мафии и увидел, как разворачивается «форд», чтобы пуститься в погоню за ними. «Додж» и «бьюик» он вывел из строя – теперь неприятности мог доставить только «форд». Уйти от погони не было ни малейшей надежды. Дороги покрывала предательская пленка льда, а Джек почти не водил такие громадные машины и не мог выжать из грузовика максимум при таких обстоятельствах.

Еще его беспокоило неприятное высокое дребезжание, доносившееся из моторного отсека после столкновения с фургоном и «бьюиком». Кроме того, откуда-то доносилось шипение. Если «мак» выйдет из строя, они окажутся в безвыходном положении и, вероятнее всего, погибнут в перестрелке с морлоками.

Вокруг была обширная промышленная территория – склады, упаковочные предприятия, фабрики. До ближайшей городской улицы – больше мили. На нескольких фабриках работали ночные смены, но главная дорога, по которой они мчались, была пуста.

Поглядывая в зеркало, Джек видел «форд» у них на хвосте – расстояние быстро сокращалось. Джек резко свернул вправо, на дорогу, идущую вдоль фабрики с вывеской: «ПЕНО-УПАКОВКА ХАРКРАЙТ ПОД ЗАКАЗ».

– Ты куда, черт тебя дери? – спросил Томми.

– Нам от них не уйти, – объяснил Джек.

– И противостоять им мы не можем, – проговорил Морт через окровавленный платок. –

С пистолетом против «узи» не попрешь.

– Доверься мне, – сказал Джек.

«Пеноупаковка Харкрайт под заказ» не работала в ночную смену.

У задней стены здания Джек свернул налево, на стоянку грузовиков, сквозь мокрый снег, который под большими фонарями казался расплавленным золотом. Два десятка трейлеров без кабин стояли ровными рядами, как обезглавленные доисторические звери, окрашенные в горчичный цвет падающим натриевым светом. Он развернул машину широким кругом, подогнал ее вплотную к задней стене фабрики, погасил фары и поехал параллельно зданию, направляясь обратно к дороге, которая вела на стоянку и по которой он только что приехал. Он затормозил на углу, вплотную к заводской стене, под прямым углом к ответвлению дороги.

– Приготовьтесь, – сказал он.

Морт и Томми уже знали, что будет дальше. Их ноги были прижаты к приборной доске, а спины – к спинке сиденья, для защиты от удара.

Не успел Джек затормозить на углу здания – «мак» застыл, как кошка, ожидающая мышь, – как на дороге появилось зарево. Свет приближался справа, от фасада здания: самые дальние лучи фар невидимого, но приближающегося фургона «форд». Свечение становилось все ярче и ярче, и Джек напрягся, пытаясь дождаться последнего момента, прежде чем свернуть на дорогу. Теперь свечение превратилось в два четко различимых параллельных луча, пронзивших морду «мака», и лучи стали очень яркими. Наконец Джек резко нажал на акселератор, и «мак» рванулся вперед, но это был большой грузовик, не слишком быстрый. «Форд», двигаясь быстрее, чем Джек ожидал, пронесся мимо угла, прямо перед носом «мака», и Джек рванулся вперед, успев зацепиться только за его заднюю часть. Но этого было достаточно, чтобы маленький фургон завертелся. Он развернулся на 360 градусов, затем еще раз, на ледяной поверхности парковки, прежде чем врезаться носом в один из грузовых трейлеров горчичного цвета.

Джек не сомневался: ни один человек в «форде» сейчас не в состоянии выскочить из побитой машины и начать стрельбу. Он развернул «мак» и направил его назад, мимо фабрики. Добравшись до главной дороги, он свернул направо, в сторону, противоположную той, где вдалеке виднелся склад «фрателланцы», к выезду из промышленной зоны, за которым начинались городские улицы.

Никто их не преследовал.

Джек проехал три мили по дороге, что вела к заброшенной автозаправке «Тексако» – они проверили ее несколько дней назад, – свернул к недействующим колонкам и остановился позади них, у маленького обветшалого сооружения.

Как только Джек остановил машину, Томми Сун распахнул дверцу со своей стороны, выпрыгнул на землю и пошел в темноту – в район, где обитала самая бедная часть среднего класса, в трех кварталах от заправки. Джек, Томми и Морт в понедельник оставили там грязный, ржавый, побитый «фольксваген-рэббит». Машина была куда новее, чем казалась снаружи. В ней они должны были вернуться на Манхэттен, где собирались бросить ее.

Кроме того, в понедельник они припрятали внутри промышленной зоны, в двух минутах ходьбы от склада мафии, неотслеживаемый «пontiак», собираясь погрузить в него мешки с деньгами, а потом приехать сюда и пересесть на «рэббит». Но сейчас на повестке дня стоял другой способ транспортировки, и «пontiаку» было суждено догнывать там, где его оставили.

Джек и Морт вытащили сумки с деньгами из «мака» и поставили их у боковой стены постройки. Наклонно падавшая снежная крупа начала образовывать корку на полотне. Морт вернулся в кабину и протер все поверхности, к которым они могли прикасаться.

Джек стоял у сумок, поглядывая из-за «мака» на улицу, по которой время от времени проезжали машины. Никого из водителей не интересовал грузовик, стоящий на давно заброшенной заправке. Но если бы вдруг появился полицейский патруль...

Наконец из боковой улочки выехал Томми и вскоре остановился между двумя рядами колонок. Морт схватил две сумки, потащил к машине, поскользнулся, упал, поднялся на ноги, снова побрел к «рэббиту». Джек с двумя другими сумками двигался осторожнее, и, когда он подошел к «фольксвагену», Морт уже опустил на заднее сиденье. Джек поставил две последние сумки рядом с ним, захлопнул дверцу, сел впереди, рядом с Томми.

– Бога ради, езжай медленно и осторожно, – сказал он.

– Можешь не сомневаться, – ответил Томми.

Когда они тронулись с места, машина забуксовала между колонками, а когда выехали с заправки на улицу, принялась рыскать, прежде чем шины сцепились с дорожным покрытием.

– Ну почему любая операция идет наперекосяк? – пожаловался Морт.

– Ничего подобного, – ответил Джек.

«Рэббит» попал в рытвину, и его стало сносить на припаркованную машину, но Томми вывернул рулевое колесо в сторону заноса и выровнял легковушку. Они продолжили движение, еще немного сбросив скорость, выехали на шоссе и поднялись по въезду, над которым висел знак «НЬЮ-ЙОРК-СИТИ».

Когда они уже добрались до вершины въезда и колеса, провернувшись на месте в последний раз, наконец надежно сцепились с дорогой и вынесли их на шоссе, Морт произнес:

– Ну почему непременно должна была пойти эта снежная крупа?

– На этих полосах много соли и крошки, – отозвался Томми. – Теперь все будет в порядке до самого города.

– Посмотрим, – мрачно сказал Морт. – Какая ужасная ночь! Боже милостивый...

– Ужасная? – повторил Джек. – Ужасная. Морт, тебя никогда, даже через тысячу лет, не примут в клуб оптимистов. Да бога ради, мы все теперь миллионеры. У тебя там целое состояние!

Морт удивленно моргнул под полями шляпы, с которых капал растаявший снег:

– Ну, тогда, пожалуй, хоть что-то.

Томми Сун рассмеялся.

Джек рассмеялся. И Морт тоже. Джек сказал:

– Мы такого банка в жизни не срывали. И никаких налогов.

Неожиданно все показалось невыносимо смешным. Они пристроились в сотне ярдов за снегоочистителем с мигающими желтыми маячками и, расслабленно тащась позади него на безопасном расстоянии, принялись весело вспоминать самые острые моменты своего бегства со склада.

Позже, когда напряженность немного спала и легкомысленный смех сменился довольными улыбками, Томми сказал:

– Джек, если честно, работа просто первоклассная. Доставка короба через компьютер, эта электронная штукovina, чтобы не взрывать сейф, а просто открыть... Ты отличный организатор.

– Не просто отличный, – добавил Морт. – Настоящий художник. На моем счету много ограблений, нас не раз припирало, но такого я не видел никогда. Ты быстро соображаешь. Вот что я скажу, Джек: если бы ты решил применить свои таланты в нормальном мире на доброе дело, даже представить не могу, кем бы ты стал.

– Доброе дело? – сказал Джек. – Разве разбогатеть – не доброе дело?

– Ну, ты понимаешь, что я имею в виду, – проговорил Морт.

– Я не герой, – сказал Джек. – Я не хочу иметь ничего общего с нормальным миром. Там одни лицемеры. Говорят о честности, правде, правосудии, социальном сознании... но боль-

шинство из них думают только о себе. Они никогда в этом не признаются, и поэтому я их не выношу. А я признаюсь, что забочусь только о себе. И пошли они все к черту! – Джек услышал, как меняется его тон, из удивленного становясь негодующим, но ничего не мог поделать. Он сердито уставился на дорогу за мокрым лобовым стеклом с постукивающими дворниками. – Доброе дело, да? Если потратить жизнь, сражаясь за добрые дела, так называемые добрые люди наверняка разобьют тебе сердце. Пошли они в жопу!

– Не хотел задевать тебя за живое, – произнес Морт, явно удивленный.

Джек ничего не ответил. Его захлестнули горькие воспоминания. Две или три мили спустя он тихо проговорил:

– Я не какой-то там герой, черт побери.

Потом, когда он станет вспоминать эти свои слова, у него будет возможность задаться вопросом: «Как я так ошибался на свой счет?»

Было час двенадцать минут ночи. Среда, 4 декабря.

### 3

### *Чикаго, Иллинойс*

К восьми двадцати четверга, 5 декабря, отец Стефан Вайкезик уже отслужил раннюю мессу, позавтракал и пошел в свой кабинет, чтобы выпить последнюю чашечку кофе. Он повернулся лицом к большому двустворчатому окну, из которого открывался вид на голые, покрытые снежной коркой деревья во дворе, и попытался не думать о проблемах прихода. Это было его время, которое он очень ценил.

Но мысли все равно возвращались к отцу Брендану Кронину. Викарий-отщепенец. Швыртель потиров. Брендан Кронин, который стал притчей во языцех в приходе. Свихнувшийся священник церкви святой Бернадетты. Брендан Кронин – кто бы подумал?! Не может быть. Просто не может быть, и все.

Отец Стефан Вайкезик прослужил священником тридцать два года, из них почти восемнадцать лет – настоятелем церкви святой Бернадетты, и за все время его никогда не мучили сомнения. Одна только мысль о сомнениях обескураживала его.

После посвящения его назначили викарием в маленький приход Святого Томаса, затерянный в пространстве Иллинойса, где пастырем служил семидесятилетний Дэн Тююлин. Отец Тююлин, обладатель тишайшего нрава, был сентиментальнейшим и милейшим из всех людей, каких знал отец Стефан Вайкезик. Дэн страдал артритом, ему отказывало зрение, он стал слишком стар для работы приходским священником. Любого другого священника отправили бы в отставку, без нажима дав понять, что пора на покой. Но Дэну Тююлину позволили остаться, потому что он сорок лет прослужил в приходе и стал неотъемлемой частью жизни прихожан. Кардинал, большой поклонник отца Тююлина, некоторое время подыскивал викария, который взял бы на себя гораздо больше ответственности, чем обычно ожидают от новобранца, и в конечном счете остановился на Стефане Вайкезике. Проведя в приходе всего один день, Стефан понял, что от него требуется, и ничуть не испугался. Он взял на себя почти всю работу. Лишь немногим молодым священникам по силам такая задача. Отец Вайкезик никогда не сомневался в том, что он справится.

Три года спустя отец Тююлин тихо скончался во сне, в приход Святого Томаса назначили нового священника, а Вайкезика кардинал отправил в пригород Чикаго: настоятель тамошнего прихода Френсис Орджилл пристрастился к алкоголю. Но Орджилл не спился окончательно. Ему доставало сил, чтобы спасти себя, и он заслуживал спасения. Задача отца Вайкезика состояла в том, чтобы подставить отцу Орджиллу плечо, аккуратно, но твердо вывести его из затруднений. Сомнения ему не мешали, и он дал отцу Орджиллу то, что требовалось.

В течение следующих трех лет Стефан послужил еще в двух церквях, переживавших трудные времена. Те, от кого зависели назначения, начали говорить о нем как о «палочке-выручалочке его высокопреосвященства».

Самым экзотическим поручением стала командировка в благотворительный сиротский приют и школу пресвятой Богородицы во вьетнамском Сайгоне, где он провел шесть кошмарных лет, будучи вторым лицом после отца Билла Нейдера. Приют Богородицы финансировался чикагским епископатом и был одним из любимых проектов кардинала. Билл Нейдер имел два шрама от огнестрельных ранений – на плече и на правой икре. До появления отца Вайкезика он потерял двух священников-вьетнамцев и одного американца – их убили вьетконговские террористы.

Со дня приезда в зону боев в течение всей командировки Стефан не сомневался, что выживет и что его работа в этом земном аду стоит того. Когда Сайгон пал, Билл Нейдер, Стефан Вайкезик и тринадцать монахинь бежали из страны со ста двадцатью шестью детьми. Сотни тысяч погибли во время последовавшей резни, но даже перед лицом массовой бойни Стефан Вайкезик ни дня не сомневался, что и сто двадцать шесть – это немало. Он никогда не позволял отчаянию завладеть собой.

Когда Стефан вернулся в Штаты, ему предложили титул монсеньора – за то, что он в течение полутора десятилетий никогда не отказывался быть палочкой-выручалочкой. Но он смиренно попросил дать ему приход. После стольких лет.

И получил приход святой Бернадетты, в то время далекий от процветания. Долги составляли сто двадцать пять тысяч долларов. Церкви срочно требовался серьезный ремонт. Настоятельский дом превратился чуть ли не в развалину и грозил рухнуть при сильном ветре. У прихода не было своей школы. Число прихожан на воскресной мессе неуклонно уменьшалось уже десять лет. Сент-Бетт, как называли его некоторые служки, был именно тем вызовом, который требовался отцу Вайкезику.

Он никогда не сомневался, что может спасти Сент-Бетт. За четыре года он сделал так, что прихожан стало больше на сорок процентов, выплатил долги, отремонтировал церковь, а еще через год отстроил заново настоятельский дом. За семь лет он удвоил посещаемость церкви и расчистил землю под приходскую школу. Вознаграждая его неустанную службу матери-церкви, кардинал за неделю до своей смерти предоставил отцу Стефану столь желанное звание пожизненного священника, что гарантировало ему постоянное служение в приходе, который он возродил после финансового и духовного краха.

Гранитная прочность веры отца Вайкезика мешала ему понять, почему во время первой мессы в последнее воскресенье вера отца Брендана Кронина пропала без остатка и он в отчаянии и ярости швырнул священную чашу через алтарь. Перед лицом сотни верующих. Господи боже! Хорошо еще, что это не случилось на более поздних мессах, куда приходило больше прихожан.

Когда Брендан Кронин только появился в Сент-Бетт, более полутора лет назад, отцу Вайкезику он не понравился.

Во-первых, Кронин учился в Риме в Североамериканском колледже, чуть ли не лучшем образовательном заведении Церкви. Это было немалой честью, и выпускники колледжа считались сливками священничества, но нередко оказывались избалованными неженками, которые боялись испачкать руки и слишком много мнили о себе. Они полагали, что преподавание закона божьего детям ниже их достоинства, бесполезная трата их интеллектуальных способностей. А посещение заключенных после знакомства с великолепным Римом считалось в их среде невыносимо унижительным занятием.

Отец Кронин не только носил «римское» клеймо, но и был толстым. Не то чтобы совсем толстым, но определенно пухлым, с круглым, мягким лицом и светло-зелеными глазами, которые, на первый взгляд, казалось, свидетельствовали о лени и, возможно, о склонности впадать

в грех. Сам отец Вайкезик был ширококостным поляком, в семье которого толстяки никогда не рождались. Его предки, польские шахтеры, эмигрировали в Штаты в начале двадцатого века, занимались тяжелой физической работой на сталелитейных заводах, на карьерах, в строительстве. У них рождалось много детей, которых удавалось прокормить только за счет бесконечных часов честной работы, и на то, чтобы толстеть, времени не оставалось. Стефан вырос, инстинктивно полагая, что настоящий мужчина должен быть крупным, но стройным, иметь толстую шею, широкие плечи и суставы, приспособленные для тяжелого физического труда.

К удивлению отца Вайкезика, Брендан Кронин оказался работягой. Он не приобрел в Риме ни высокомерия, ни спесивых замашек, был умным, добродушным, веселым, не брезговал посещением больных, обучением детей и сбором средств. Лучший викарий отца Вайкезика за восемнадцать лет.

Вот почему воскресная вспышка – и утрата веры, которая стала ее причиной, – так огорчила Вайкезика. Конечно, какая-то часть его души с нетерпением ждала возможности принять вызов и вернуть Брендана Кронина в лоно церкви. Отец Вайкезик начал карьеру, подставляя плечо священникам, попавшим в беду, и теперь ему предстояло сыграть эту роль в очередной раз. В памяти всплыли времена юности, пришло радостное чувство: на него снова ложилась ответственность за выполнение важной миссии.

Когда он снова пригубил кофе, в дверь кабинета постучали. Он сверился с часами на каминной полке, полученными в дар от прихожанина: бронзовая инкрустация по красному дереву, швейцарский механизм с точнейшим ходом. Часы были единственным предметом роскоши в комнате, заставленной простой и разномастной мебелью, с потертым псевдоперсидским ковром на полу. Часы показывали ровно половину девятого, и Стефан, повернувшись к двери, сказал:

– Входи, Брендан.

Брендан Кронин выглядел таким же угнетенным, как в воскресенье, понедельник, во вторник и в среду, когда они встречались в этом кабинете, чтобы обсудить кризис его веры и найти способы ее восстановления. Он был таким бледным, что веснушки на его коже горели, как искры, а каштановые волосы по контрасту казались рыжее обычного. Походка перестала быть пружинистой.

– Садись, Брендан. Кофе?

– Нет, спасибо.

Брендан обошел потрепанные кресла «честерфилд» и «моррис» и опустился в третье – ушатое, просевшее.

Поначалу Стефан собирался поинтересоваться, хорошо ли Брендан позавтракал или только поклевал тост и запил его кофе. Но он не хотел, чтобы тридцатилетний викарий чувствовал себя малым ребенком, а потому спросил:

– Ты прочел то, что я тебе предлагал?

– Да.

Стефан освободил Брендана от всех приходских обязанностей, дал ему книги и брошюры, в которых с интеллектуальных позиций доказывалось существование Бога и опровергались заблуждения атеистов.

– И поразмыслил над тем, что прочел, – продолжил отец Вайкезик. – Тебе удалось найти... то, что помогло бы тебе? – (Брендан вздохнул и отрицательно покачал головой.) – Ты продолжаешь молиться о получении наставления?

– Да. Но не получил его.

– Ты продолжаешь искать корни своих сомнений?

– Похоже, корней нет.

Стефана все больше раздражала замкнутость отца Кронина, столь несвойственная молодому священнику. Обычно Брендан был открытым, разговорчивым. Но с воскресенья он ушел

в себя, начал говорить медленно, тихо, скупно, словно слова превратились в деньги, а он – в скрягу, который не хочет расставаться ни с одним центом.

– Корни есть, должны быть, – настаивал отец Вайкезик. – То, из чего произошло семя сомнения, – первоначало.

– Оно просто есть, – пробормотал Брендан едва слышным голосом. – Сомнение. Оно есть, так, будто было всегда.

– Но его там не было: ты верил искренне. Когда начались сомнения? В августе, ты сказал? Что за искра их разожгла? Какой-то случай, один или несколько, из-за которого ты пересмотрел свои взгляды на мир.

– Нет, – тихо выдохнул Брендан.

Отцу Вайкезику хотелось заорать на него, встряхнуть, выколотить из него эту тупую угрюмость. Но он терпеливо сказал:

– Много хороших священников переживали кризис веры. Даже некоторые святые боролись с ангелами. Но у них были две общие черты: они теряли веру постепенно, на протяжении нескольких лет, и лишь потом наступал кризис. Все они могли указать на конкретный случай и наблюдения, из которых родилось сомнение. Например, смерть ребенка. Или рак, поразивший праведницу. Убийство. Изнасилование. Почему Господь допускает зло в мире? Почему допускает войны? Источники сомнения бесчисленны, хотя и хорошо известны. Доктрина церкви объясняет все это, но бесчувственная доктрина не всегда приносит утешение. Сомнения всегда возникают из конкретных противоречий между понятием божественного милосердия и реальностью человеческих скорбей и страданий.

– Это не мой случай, – сказал Брендан.

Отец Вайкезик продолжил:

– Единственное, чем можно снять сомнения, – сосредоточиться на противоречиях, которые не дают тебе покоя, и обсудить их с духовным наставником.

– В моем случае моя вера просто... обрушилась подо мной... неожиданно... как пол, который казался совершенно прочным, но весь сгнил.

– Ты не размышляешь о несправедливости смерти, о болезнях, убийствах, войнах? Говоришь, что-то вроде сгнившего пола? Который обрушился в одну ночь?

– Верно.

– Чушь собачья! – воскликнул Стефан, вскакивая со стула.

Его резкие слова и движения испугали отца Кронина. Он вскинул голову, его глаза расширились от удивления.

– Чушь собачья! – повторил отец Вайкезик, сопроводив свое восклицание гримасой и повернувшись к викарию спиной.

Он хотел шокировать молодого коллегу, вывести его из этого полугипнотического состояния, навеянного жалостью к себе, но, кроме того, его раздражали закрытость и упрямое отчаяние Кронина. Обращаясь к викарию и глядя при этом в атакуемое порывами ветра окно, разрисованное морозными узорами, отец Вайкезик сказал:

– Ты не мог пасть вот так, от истинно верующего священника в августе до атеиста в декабре. Просто не мог. Если только причиной не стало какое-то убийственное событие. Перемены в твоём сердце явно не случайны, отец, даже если ты скрываешь от себя причины. Но пока ты их не признаешь, не примешь, ты будешь оставаться несчастным.

Напряженная тишина повисла в воздухе.

Потом стало слышно приглушенное тиканье часов в корпусе красного дерева, инкрустированном бронзой.

Наконец Брендан Кронин сказал:

– Отец, пожалуйста, не сердитесь на меня. Я вас так уважаю... и настолько ценю наши отношения, что ваш гнев... вкупе со всем прочим... слишком тяжел для меня.

Довольный тем, что в раковине Брендана появилась трещина, пусть и небольшая, радуясь тому, что его маленькая хитрость принесла плоды, отец Вайкезик отвернулся от окна, быстро подошел к ушатому креслу и положил руку на плечо викария:

– Я не сержусь на тебя, Брендан. Я обеспокоен. Озабочен. Разочарован тем, что ты не позволяешь мне помочь тебе. Но я не сержусь.

Молодой священник поднял глаза:

– Отец, поверьте мне, я всей душой желаю получить от вас помощь для выхода из этого состояния. Но, по правде говоря, мои сомнения порождены не тем, что вы назвали. Я и вправду не знаю, откуда они взялись. Для меня это... загадка.

Стефан кивнул, сжал плечо Брендана, вновь сел за стол, закрыл глаза, задумался.

– Итак, Брендан, ты не можешь определить причину своего кризиса веры. А значит, твоя проблема имеет не интеллектуальную природу и вдохновляющее чтение тебе не поможет. Это проблема психологического свойства, корни ее находятся в твоём подсознании, ждут, когда ты до них докопаешься.

Открыв глаза, Стефан увидел, что викарий упорно размышляет над предположением о неполадках в глубине своего сознания. Это означало бы, что не Бог отвернулся от Брендана, а Брендан – от Бога. С личной ответственностью разбираться было гораздо проще, чем с мыслью, что Бога нет или что Бог больше не хочет его знать.

– Ты, вероятно, знаешь, что настоятелем Иллинойского общества Иисуса является Ли Келлог. Но вероятно, не знаешь о том, что в его подчинении есть два психиатра, тоже иезуиты: они пользуют священников нашего ордена, у которых возникают душевные и эмоциональные проблемы. Я мог бы устроить для тебя курс лечения у одного из них.

– Правда? – Брендан весь подался вперед.

– Да. Со временем. Но не сейчас. Если ты начнешь проходить курс, настоятель сообщит твое имя дисциплинарному префекту, который станет проверять твои действия за прошедшие годы – не нарушал ли ты обетов.

– Но я никогда...

– Я знаю, что никогда, – успокаивающе сказал Стефан. – Но должность дисциплинарного префекта обязывает к подозрительности. Хуже всего другое: даже если все закончится излечением, префект еще несколько лет будет не сводить с тебя глаз, предостерегать от неподобающего поведения. Это сузит твои перспективы. А ты, отец, до всех этих неприятностей казался мне священником с хорошими перспективами: монсеньорство, а то и больше.

– Нет-нет. Определенно нет. Не я, – сказал Брендан тоном, полным самоуничужения.

– Именно ты. И если ты справишься с этим, то все еще сможешь далеко пойти. Но если окажешься в списке префекта, то до конца своих дней будешь ходить в подозреваемых. В лучшем случае станешь тем, кем стал я: простым приходским священником.

В уголках глаз Брендана промелькнула улыбка.

– Для меня это будет честью. Я считал бы, что хорошо прожил жизнь, если бы стал тем, кем стали вы.

– Но ты можешь пойти дальше, хорошо послужить церкви. И я исполнен решимости предоставить тебе такой шанс. Поэтому прошу дать мне время до Рождества – я помогу тебе выбраться из этой дыры. Больше никаких ободряющих слов. Никаких споров о добре и зле. Я буду опираться на собственные теории относительно психологических нарушений. Мое лечение будет непрофессиональным, но дай мне шанс. До Рождества. А потом, если твое состояние не улучшится, если мы не приблизимся к ответу, я передам тебя в руки психиатров-иезуитов. Договорились?

Брендан кивнул:

– Договорились.

– Превосходно! – сказал отец Вайкезик. Выпрямившись, он оживленно потер ладони, словно собирался колоть дрова или заняться другими взбадривающими упражнениями. – У нас больше трех недель. В первую неделю ты откажешься от всех священнических одеяний, оденешься в мирскую одежду и явишься в детскую больницу Святого Иосифа, к доктору Джеймсу Макмерти. Он причислит тебя к сотрудникам больницы.

– В качестве капеллана?

– В качестве санитаря – будешь выносить судна, менять простыни, все, что потребуется.

О том, что ты священник, будет знать только доктор Макмерти.

Брендан моргнул:

– И какой в этом смысл?

– Ты поймешь еще до конца недели, – радостно сказал Стефан. – А когда поймешь, почему я отправил тебя в больницу, у тебя появится важный ключ к своей душе – ключ, который откроет двери и даст тебе возможность заглянуть внутрь себя. Может быть, ты поймешь причину потери веры и преодолеешь кризис.

На лице Брендана отразилось сомнение.

– Вы обещали дать мне три недели, – сказал Брендан.

– Хорошо.

Брендан машинально поправил пасторский воротничок, – казалось, его тревожила мысль о расставании с этим атрибутом, и отцу Вайкезику это представлялось хорошим симптомом.

– Ты съедешь из церковного дома и не появишься в нем до Рождества. Я дам тебе денег на еду и номер в недорогом отеле. Будешь работать и жить в реальном мире, не под церковной крышей. А теперь переоденься, собери вещи и приходи ко мне. Я позвоню доктору Макмерти и сделаю необходимые приготовления.

Брендан вздохнул, встал и направился к двери.

– Кое-что, возможно, подтверждает теорию о том, что моя проблема – психологическая, а не интеллектуальная. Меня одолевают сны... точнее, один и тот же сон, каждую ночь.

– Повторяющийся сон. Очень по-фрейдистски.

– Я вижу его начиная с августа, поначалу еженедельно или чуть чаще. Но на последней неделе он стал повторяться регулярно – трижды за последние четыре ночи. К тому же этот плохой сон повторяется несколько раз за ночь. Короткий, но... напряженный. Про черные перчатки.

– Черные перчатки?

Брендан поморщился:

– Я нахожусь в странном месте. Не знаю где. Лежу в кровати, кажется. Я вроде как связан. Мои руки неподвижны. И ноги. Хочу пошевелиться, бежать, выбраться оттуда, но не могу. Горит тусклая лампочка. А потом эти руки...

Его пробрала дрожь.

– Руки в черных перчатках? – подсказал отец Вайкезик.

– Да. Глянцевые черные перчатки. Виниловые или резиновые. Плотно сидят на руках и отливают глянцем, не как обычные перчатки. – Брендан отпустил ручку двери, сделал два шага к середине комнаты, встал там и поднял руки к лицу, словно они помогали вспомнить угрожающие руки из сна. – Я не вижу, кому принадлежат руки. Что-то происходит с моими глазами. Я могу видеть руки... перчатки... но только до запястий. А все остальное подернуто туманом.

Судя по тому, как Брендан упомянул о своем сне – напоследок и словно ненароком, – ему явно хотелось считать это обстоятельство несущественным. Лицо его, однако, стало бледнее обычного, а в голосе слышалась едва уловимая, но безошибочно угадываемая дрожь.

Порыв ветра обрушился на дребезжавшую раму окна, и Стефан спросил:

– Этот человек в черных перчатках говорит что-нибудь?

– Ничего не говорит. – Снова дрожь. Брендан опустил руки и сунул их в карманы. – Он прикасается ко мне. Перчатки холодные, гладкие.

Казалось, викарий чувствовал прикосновение перчаток прямо в этот момент. Заинтригованный, отец Вайкезик подался вперед на стуле и задал вопрос:

– В каком месте он касается тебя перчатками?

Глаза молодого священника остекленели.

– Они прикасаются... к моему лицу. Ко лбу. К щекам, к шее... груди. Холодные. Прикасаются почти повсюду.

– Они делают тебе больно?

– Нет.

– Но ты боишься этих перчаток и человека, который их носит?

– Я в ужасе. Но не знаю почему.

– Не разглядеть фрейдистскую природу этого сна просто невозможно.

– Наверное, – согласился викарий.

– Сны – это послания, которые подсознание отправляет сознанию, и в этих перчатках легко увидеть фрейдистскую символику. Руки дьявола тянутся к тебе, чтобы лишить тебя божьей благодати. Или они могут быть символами искушения, грехов, в которые тебя вовлекают.

Брендан, казалось, мрачно забавлялся при мысли о такой возможности.

– В особенности плотского греха. Ведь перчатки прикасаются ко мне повсюду. – Викарий вернулся к двери, взялся за ручку, но снова остановился. – Слушайте, я вам скажу кое-что странное... Этот сон... Я почти уверен: он не символический. – Брендан перевел взгляд со Стефана на поношенный ковер. – Думаю, эти руки в перчатках не символизируют ничего, кроме рук в перчатках. Я думаю... где-то, в каком-то месте, в то или иное время они были реальными.

– Ты хочешь сказать, что когда-то побывал в ситуации, похожей на ту, которую видишь во сне?

Викарий, по-прежнему глядя на ковер, сказал:

– Не знаю. Может быть, в детстве. Понимаете, это не обязательно связано с моим кризисом веры. Возможно, это две разные вещи.

Стефан отрицательно покачал головой:

– Два необычных и серьезных несчастья – утрата веры и повторяющийся ночной кошмар – беспокоят тебя одновременно. И ты хочешь, чтобы я не видел связи? Тут нет места для случайности. Связь должна быть. Но скажи мне, когда именно в детстве тебе угрожала невидимая фигура в перчатках?

– Два раза я серьезно болел. Может быть, меня во время жара осматривал доктор, который грубо вел себя или напугал меня. И этот опыт оказался таким травматическим, что я его подавил, а теперь он возвращается ко мне во сне.

– Врачи во время обследования пациента надевают белые, а не черные перчатки. И легкие, из латекса, а не тяжелые, из резины или винила.

Викарий набрал в грудь воздуха и выдохнул:

– Да, вы правы. Но я не могу отделаться от ощущения, что этот сон не символический. Думаю, это безумие. Но я уверен, черные перчатки – настоящие, такие же настоящие, как кресло «морриса» или эти книги на полке.

Часы на каминной полке пробили четыре.

Ветер, шелестевший внутри пустот, теперь завыл.

– Страшновато, – сказал Стефан, имея в виду не ветер и не гулкий бой часов. Он пересек комнату и похлопал викария по плечу. – Уверю тебя, ты ошибаешься. Сон связан с твоим

кризисом веры. Черные руки сомнения. Подсознание предупреждает тебя о том, что ты участвуешь в реальной схватке. Но ты бьешься не один. Я сражаюсь бок о бок с тобой.

– Спасибо, отец.

– И Бог. Он тоже рядом с тобой.

Отец Кронин кивнул, но его лицо и сутулые плечи выдавали полную безнадежность.

– А теперь иди и собирай чемоданы, – велел отец Вайкезик.

– Вы останетесь без помощи, когда я уйду.

– У меня есть отец Джеррано и сестры в школе. Иди.

Когда викарий ушел, Стефан вернулся за стол.

Черные перчатки. Всего лишь сон, по сути не очень страшный. Но отец Кронин выглядел таким испуганным, рассказывая о нем, что перед глазами Стефана до сих пор стоял этот образ: пальцы в глянцевых черных перчатках тянутся из тумана и щупают, пальпируют...

Черные перчатки.

У отца Вайкезика возникло предчувствие, что это будет одна из самых трудных спасательных миссий, которые выпадали на его долю.

За окном падал снег.

Был четверг, 5 декабря.

## 4

### *Бостон, Массачусетс*

В пятницу, четыре дня спустя после успешной установки аортального имплантата Виоле Флетчер и своего катастрофического бегства из операционной, Джинджер Вайс все еще лежала в Мемориальном госпитале. Джинджер поместили туда после того, как Джордж Ханнаби вывел ее из заснеженного проулка, где к ней вернулось сознание.

Она подверглась трехдневному доскональному обследованию. Электроэнцефалография, рентгенограмма черепа, эхотонограмма, пневмовентрикулография, люмбальная пункция, ангиограмма и еще много чего, затем повторение нескольких анализов (к счастью, не люмбальной пункции) в целях перекрестной проверки. Новейшее оборудование и наличие современных медицинских методик позволяло обследовать ее мозговые ткани на предмет кистозных образований, абсцессов, тромбов, аневризм и доброкачественных опухолей. Некоторое время у нее предполагали злокачественную опухоль периневральных нервов. Проверили внутричерепное давление. Проверили, нет ли хронической внутричерепной гипертензии. Сделали анализ жидкости, отобранной в ходе люмбальной пункции, на количество протеинов, церебральное кровотечение и содержание сахара, повышенный уровень которого мог указывать на бактериальную инфекцию или признаки грибковой инфекции. Доктора действовали тщательно, решительно, вдумчиво, досконально, с твердым намерением выявить причину ее проблемы, потому что были врачами и отдавали все силы пациенту, но в особенности потому, что Джинджер была их коллегой.

В два часа дня пятницы Джордж Ханнаби вошел в ее палату с результатами многочисленных анализов и отчетами консультантов, которые в последний раз обменялись мнениями. Тот факт, что он пришел сам, вместо онколога или нейрохирурга (ведущего врача Джинджер), скорее всего, означал, что результат неважный. В первый раз Джинджер пожалела, что видит его.

Она сидела в кровати, облаченная в синюю пижаму, которую Рита Ханнаби, жена Джорджа, любезно привезла ей (вместе с чемоданом, набитым другими необходимыми вещами) из квартиры на Бикон-Хилл. Читала какой-то детектив в мягкой обложке, притворяясь, что уверена: ее приступы – следствие легкого, излечимого недомогания. Но страх не отпускал ее.

Однако новости от Джорджа оказались настолько плохими, что самообладание отказало ей. В каком-то смысле это было хуже всего, к чему она готовилась.

У нее не нашли ничего.

Никаких заболеваний. Никаких повреждений. Никаких врожденных дефектов. Ничего.

Когда Джордж торжественно выложил ей окончательные результаты и дал понять, что ее безумное бегство в состоянии фуги не имеет видимых патологических причин, Джинджер потеряла контроль над своими эмоциями – впервые после того, как разрыдалась в проезде. Она плакала тихо, почти без слез, охваченная огромной болью.

Физический недуг, возможно, оказался бы излечимым. Выздоровев, она вернулась бы за операционный стол.

Но результаты обследования и заключения специалистов содержали одну и ту же невыносимую истину. Ее проблема находилась исключительно в ее сознании, имела психологический характер и не излечивалась хирургическими средствами, антибиотиками или наркотиками в контролируемых дозах. Если пациент страдал повторяющимися фугами при отсутствии физиологических причин, единственной надеждой оставалась психотерапия, хотя даже лучшие психиатры не могли похвастаться высоким процентом излечения таких пациентов. И в самом деле, fuga часто указывала на зачатки шизофрении. Шансы Джинджер справиться с заболеванием и вернуться к нормальной жизни упали чуть ли не до нуля, а шансы на длительную госпитализацию стали пугающе высокими.

Ей оставалось несколько шагов до исполнения мечты, несколько месяцев до собственной хирургической практики – и в этот момент все полностью разрушилось, как разбивается хрустальный шар, пораженный пулей. Даже если ее состояние нельзя назвать критическим, даже если психотерапия даст ей шанс контролировать эти странные приступы, получить лицензию врача она никогда не сможет.

Джордж достал из коробки несколько салфеток, дал ей. Налил стакан воды. Заставил ее выпить таблетку валиума, хотя поначалу она отказывалась. Взял ее руку, казавшуюся в его большой ладони рукой ребенка. Заговорил тихим, ободряющим голосом. Постепенно успокоил ее.

Наконец Джинджер обрела дар речи:

– Но, Джордж, черт побери, я выросла в атмосфере, которую никак не назовешь психологически разрушительной. В нашем доме царили счастье и мир. И я определенно получила больше любви и ласки, чем кто бы то ни было. Никакого насилия я не знала – ни физического, ни психологического, ни эмоционального. – Она сердито схватила коробку с салфетками, выдернула одну. – Почему я? Как у меня, с моими данными, мог развиваться психоз? Как? С моей фантастической матерью, моим особенным папой, моим детством, счастливым, как ни у кого, черт побери! Откуда я могла подхватить серьезное душевное заболевание? Это несправедливо. Это неправильно. Это невероятно.

Ханнаби сел на край ее кровати – при своем росте он заметно возвышался над Джинджер даже в такой позе.

– Во-первых, доктор, специалисты говорят вот что. Существует целая школа, которая считает, что многие душевные болезни являются следствием мельчайших химических изменений в организме, в мозговых тканях, таких изменений, которых мы пока не можем ни обнаружить, ни понять. Это не обязательно должно корениться в вашем детстве. Я не считаю, что из-за этого вы должны переоценить всю свою жизнь. Во-вторых, я вовсе не убежден – повторяю: не убежден, – что ваше состояние настолько серьезно, как прогрессирующий психоз.

– Ах, Джордж, пожалуйста, не утешайте...

– Утешать пациента? Вы видели, чтобы я когда-нибудь этим занимался? – Он сказал это так, будто сроду не слышал ничего более абсурдного. – Я не пытаюсь поднять вам настроение. Я говорю то, что думаю. Да, мы не нашли физической причины вашего состояния, но это не

значит, что ее нет. Возможно, вы в начальной фазе, когда выявить причину невозможно. Через неделю-другую, через месяц или после какого-нибудь обострения появится симптом, указывающий на ухудшение. Мы сделаем новые анализы, обследуем вас еще раз и в конечном счете обнаружим причину. Спорю на что угодно: мы докопаемся до причин вашей проблемы.

Она обрела надежду. Выбросила скомканые салфетки и взяла всю коробку.

– Вы и вправду думаете, что такое возможно? Опухоль в мозгу или абсцесс, настолько крохотные, что их пока не видно?

– Конечно. Мне гораздо легче поверить в это, чем в нарушение психики. Вы? Да вы одна из самых психически устойчивых людей, с какими мне приходилось встречаться. И я не могу принять версию о том, будто вы психопат или даже психоневротик, у которого между фугами не проявляется отклонений от нормы. Что я хочу сказать? Серьезные душевные болезни не проявляют себя мелкими вспышками. Они захватывают всю жизнь пациента.

Это не приходило ей в голову. Обдумав соображение Ханнаби, она почувствовала себя лучше – хотя не очень обнадеженной и отнюдь не счастливой. Казалось странным надеяться на опухоль мозга, но ведь опухоль можно вырезать, не нанеся при этом серьезного ущерба мозговым тканям. А вот против безумия все скальпели бессильны.

– Следующие несколько недель или месяцев, вероятно, будут самыми трудными в вашей жизни, – сказал он. – Ожидание.

– Полагаю, на это время я отстранена от работы в больнице.

– Да. Но я не вижу причин отстранять вас от помощи мне в кабинете. В зависимости от вашего состояния, конечно.

– А что, если я... если со мной случится один из этих приступов?

– Я буду рядом и не допущу, чтобы вы нанесли себе вред, пока длится приступ.

– Но что будут думать пациенты? Вашей практике это вряд ли пойдет на пользу, разве нет? Иметь помощницу, которая вдруг превращается в мешугене и с воплем выскакивает из кабинета?

Он улыбнулся:

– Мои пациенты – это моя забота. Так или иначе, это на потом. Пару недель вы спокойно можете отдыхать. Без всякой работы. Расслабьтесь. Придите в себя. Последние несколько дней вымотали вас эмоционально и физически.

– Я лежала в постели. Вымотали? Не стучите по чайнику.

Он недоуменно моргнул:

– Не – что?

– Ой! – Она удивилась, что эти слова сорвались с ее языка. – Так говорил мой отец. Еврейское выражение. «Хок нит кайн чайник» – не стучи по чайнику. Это значит: «не говори глупостей». Не спрашивайте почему. Просто я ребенком постоянно слышала эти слова.

– Ну, я не стучу по чайнику, – сказал он. – Хотя вы и пролежали неделю в постели, ничего не делаю, но эти дни сильно вас измотали, и вам нужно расслабиться. Я хочу, чтобы вы на несколько недель переехали к нам с Ритой.

– Что? Я не могу доставлять вам столько...

– Никаких хлопот. С нами живет горничная. Вам даже постель по утрам не придется убирать. Из гостевой комнаты открывается прекрасный вид на залив. Жить рядом с водой полезно – успокаивает. Если хотите знать, доктор именно это вам и предписал.

– Нет, правда. Спасибо, но я не смогу.

Он нахмурился:

– Вы не понимаете. Я не только ваш босс, но и ваш доктор, и я вам говорю: это именно то, что вы должны сделать.

– Я прекрасно проживу у себя дома.

– Нет, – твердо сказал он. – Вы подумайте. Представьте: приступ застанет вас во время готовки обеда. Вы перевернете кастрюлю на плиту. Может начаться пожар, а вы ничего не поймете, пока не выйдете из фуги, – к тому времени вся квартира будет в огне, и вы не сможете выбраться. И это только один из способов нанести себе вред. Могу назвать еще сотню. Так что я вынужден настаивать... какое-то время вы не можете жить одна. Если не хотите поселиться у нас, то, может, есть родственники, которые вас примут на время?

– В Бостоне нет. В Нью-Йорке. Тетушки и дядюшки.

Но Джинджер не могла остановиться ни у кого из родственников. Они, конечно, были бы рады ее принять, в особенности тетя Франсина или тетя Рейчел. Однако Джинджер не хотела, чтобы они видели ее в таком состоянии, одна мысль о том, что приступ случится у них на глазах, была для нее невыносима. Она чуть ли не видела Франсину и Рейчел – вот они сидят, ссутулившись за кухонным столом, разговаривают вполголоса, прищелкивают языками. «В какой момент Джейкоб и Анна совершили ошибку? Может, они ее загоняли? Анна всегда требовала от нее слишком многого. А после смерти Анны Джейкоб слишком много навалил на ее плечи. Она в двенадцать лет хозяйство вела. Слишком много для нее. Слишком большая нагрузка для девочки».

Они обрушат на Джинджер массу сострадания, понимания и любви, но при этом могут замарать память о родителях – память, которую она твердо решила чтить всегда.

Джорджу, который все еще сидел на краю постели и ждал ее ответа с явной озабоченностью, глубоко тронувшей ее, она сказала:

– Я принимаю гостевую комнату с видом на залив.

– Превосходно!

– Правда, мне кажется, что я страшно обременю вас. И предупреждаю: если мне там настоящему понравится, вы от меня никогда не избавитесь. Вы поймете, что попали в переделку, когда придете домой, а там нанятые мной люди перекрашивают стены и вешают новые шторы.

Ханнаби усмехнулся:

– При первом упоминании о малярах или шторах мы вышвырнем вас на улицу. – Он легонько поцеловал ее в щеку, встал с края кровати и пошел к двери. – Я запускаю процесс выписки, через два часа вы сможете покинуть больницу. Позвоню Рите, попрошу ее приехать и забрать вас. Я уверен, вы победите эту болезнь, Джинджер, но вы должны думать позитивно.

Когда Ханнаби вышел из палаты и его шаги замерли в коридоре, вымученная улыбка мигом исчезла с ее лица. Она откинулась на подушки и тупо уставилась на пожелтевшую от времени акустическую плитку.

Потом прошла в примыкавшую к палате ванную, с волнением приблизилась к раковине, немного поколебавшись, включила воду и стала смотреть, как та вихрится у сливного отверстия и уходит в канализацию. В понедельник у раковины операционного блока, после успешно проведенной операции по установке аортального имплантата Виоле Флетчер, Джинджер впала в панику при виде воды, уходившей в сливное отверстие, но никак не могла понять, почему это случилось. Почему, черт побери? Ей отчаянно хотелось понять.

«Папа, – думала она, – почему тебя нет со мной? Ты бы меня выслушал, помог».

Папины изречения часто посвящались пакостным сюрпризам жизни. В те времена Джинджер находила их смешными. Когда все волновались, думая о будущем, Джейкоб покачивал головой, подмигивал и говорил: «Зачем переживать из-за завтрашнего дня? Никто не знает, что упадет вам на голову сегодня».

Как это верно. И совсем не смешно.

Она чувствовала себя инвалидом. Потерянной.

Была пятница, 6 декабря.

## 5

### *Лагуна-Бич, Калифорния*

Утром в понедельник, 2 декабря, Доминик вместе с Паркером Фейном приехал в кабинет врача. Но доктор Коблец не стал сразу же отправлять его на диагностику, потому что совсем недавно тщательно обследовал Доминика и не обнаружил никаких физических нарушений. Он заверил их, что не стоит делать поспешных выводов о нарушении мозговой деятельности, которое во сне вынуждает писателя спешно искать укрытия и прибегать к самозащите. Сперва надо испробовать другие методы лечения.

После предыдущего визита Доминика, 23 ноября, доктор, по его словам, стал интересоваться проблемами сомнамбулизма и прочел кое-что по этой теме. У большинства взрослых нарушение быстро проходило, но в некоторых случаях возникала опасность перехода в хроническое состояние. В самом серьезном случае это напоминало жестко фиксированное, навязчивое поведение тяжелых неврастеников. Хронический сомнамбулизм с трудом поддавался лечению и мог стать доминирующим фактором в жизни пациента, порождая страх перед ночью и сном, вызывая чувство полной беспомощности, переходящее в более серьезные эмоциональные нарушения.

Доминик чувствовал, что уже находится в опасной зоне. Он вспомнил баррикаду, которую воздвиг перед дверями спальни. Арсенал на своей кровати.

Коблец, заинтригованный и озабоченный, но не слишком обеспокоенный, заверил Доминика и Паркера, что в большинстве случаев с перманентным сомнамбулизмом – повторяющимися ночными хождениями – можно покончить, принимая успокоительное перед сном. После нескольких спокойных ночей пациент обычно излечивается. В хронических случаях, если человека преследует тревога, он в течение дня пьет еще и диазепам. Поскольку действия, которые выполнял во сне Доминик, требовали от сомнамбулы неестественно больших физических усилий, доктор Коблец велел ему пить днем валиум и глотать таблетку флуразепама – пятнадцать миллиграммов, – перед тем как забраться под одеяло.

По пути из Ньюпорта в Лагуна-Бич – справа плескался океан, слева возвышались горы – Паркер Фейн сказал, что пока хождения во сне не прекратились, Доминику не следует жить одному. Бородатый, растрепанный художник вел «вольво» быстро, агрессивно, но осторожно. Он редко отрывал взгляд от Тихоокеанского шоссе, но сила его личности действовала так, что взгляд и внимание Фейна, казалось, были постоянно обращены к Доминику.

– У меня дома полно места. Я смогу за тобой приглядывать. Имей в виду, надоедать тебе я не буду. Не стану наседкой. Но по крайней мере, буду рядом. И мы сможем как следует обсудить это, вникнуть во все по-настоящему – только ты да я. Попытаемся разобраться, как твой лунатизм связан с переменами в тебе, когда позапрошлым летом ты отказался от работы в Маунтин-Вью. Я определенно могу тебе помочь. Честное слово, если бы я не стал треклятым художником, то стал бы треклятым психиатром. У меня есть дар – я умею разговорить кого угодно, заставить рассказать о себе. Как полагаешь? Поживи у меня и позволь мне побыть психотерапевтом.

Доминик отказался. Он хотел остаться в своем доме, один – все остальное казалось ему уходом в ту самую кроличью нору, где он столько лет прятался от жизни. Изменения, произошедшие с ним позапрошлым летом, во время путешествия в Маунтин-Вью, были сильными и необъяснимыми, но это были изменения к лучшему. В тридцать три года он наконец оседлал жизнь, крепко держал узду и скакал по новым просторам. Ему нравился тот человек, которым он стал, и он ничего так не боялся, как возвращения к прежнему безотрадному существованию.

Может быть, сомнамбулизм был таинственным образом связан с изменениями в нем самом, как утверждал Паркер, но Доминик сомневался, что эта связь была загадочной или

сложной. Скорее всего, дело обстояло проще: сомнамбулизм был способом спрятаться от проблем, волнений и стрессов, ожидавших его в новой жизни. Но он никак не мог допустить такого поворота.

Поэтому Доминик останется у себя дома, один, будет принимать валиум и флуразепам, как прописал доктор Коблец, и победит болезнь.

Так он решил по пути в Лагуна-Бич, утром в субботу, 7 декабря, и это решение пока что казалось правильным. В один день ему требовался валиум, в другой – нет. Каждый вечер он принимал таблетку флуразепама с молоком или горячим шоколадом. Сомнамбулизм стал реже тревожить его по ночам. До начала медикаментозного лечения приступы случались каждые сутки, но за последние пять ночей он ходил во сне только два раза, в среду и пятницу, покидая постель в предрассветные часы.

Более того, его активность во сне стала не такой странной и тревожной. Он больше не запасался оружием, не строил баррикад, не пытался забить гвоздями окно. В обоих случаях он просто покидал свой матрас «Бьютирест» ради импровизированной кровати в углу гардеробной, где просыпался с затекшими конечностями, с болями, испуганный какой-то неизвестной и безымянной угрозой, вспомнить которую не мог.

Худшее вроде бы осталось позади. Слава богу.

В четверг он вернулся к работе, продолжив писать новый роман – с того места, где остановился несколько недель назад.

В пятницу позвонила Табита Уайкомб, его нью-йоркский редактор, и сообщила хорошую новость: появились две предварительные рецензии на «Сумерки в Вавилоне», обе отличные. Она прочла ему рецензии, потом рассказала другие новости, совсем уже хорошие: запросы книготорговцев, разоженные рекламой и рассылкой нескольких сот сигнальных экземпляров, продолжают расти и первый тираж, который однажды уже решили поднять, теперь поднимут снова. Они проговорили почти полчаса, и Доминик, повесив трубку, понял, что жизнь налаживается.

Но субботняя ночь принесла новый поворот, то ли к лучшему, то ли к худшему – этого он пока не понимал. Ни одна из ночей, во время которых случались хождения во сне, не оставила ни малейших воспоминаний о кошмаре, выгнавшем его из кровати. В субботу же Доминика преследовал жуткий, необыкновенно яркий сон, из-за которого он в сомнамбулической панике бегал по дому, но на сей раз, проснувшись, вспомнил часть сновидения. Меньшую часть, но зато главную – концовку.

В последние одну-две минуты сна он стоял в тускло освещенной ванной, все вокруг было как в тумане. Невидимый человек толкнул его к раковине, Доминик согнулся над ней, уткнувшись лицом прямо в фарфоровую чашу. Кто-то обхватил его рукой и удерживал на ногах – сам бы он не устоял из-за слабости. Он был как тряпка, колени дрожали, желудок выворачивало и завязывало узлом. Второй невидимый человек положил обе руки на его голову и ткнул лицом в раковину. Доминик не мог говорить. Не мог дышать. Он знал, что умирает. Ему нужно было убежать от этих людей, из ванной, но сил не было. Все вокруг было нечетким, но он хорошо различал гладкую поверхность фарфора и хромированные края слива – его лицо от сливного отверстия отделяли считанные дюймы. Слив был старомодным, без механической пробки. Резиновая затычка была извлечена и убрана, он ее не видел. Вода текла из крана мимо его лица, расплескивалась по дну раковины, вихрилась и снова вихрилась вокруг слива, уходила вниз. Два человека, заталкивавшие его в раковину, кричали, хотя он не понимал ни слова. Вихрем и вниз... вихрем... Миниатюрный вихрь гипнотически притягивал его глаза, зияющий слив приводил в ужас – он походил на засасывающее отверстие, намеревавшееся затянуть его в свои зловонные глубины. Доминик вдруг понял, что эти двое хотят затолкать его в отверстие и избавиться от него. Может быть, внизу стоит мусороперерабатывающая машина, которая изрубит его в мелкие куски и смочет...

Он проснулся с криком. В ванной. Пришел сюда во сне. Стоял рядом с раковиной, нагнувшись, и кричал в сливное отверстие. Он отпрыгнул от зияющей дыры, нога подвернулась, он чуть не свалился в ванну. Ухватился за вешалку для полотенец и удержался на ногах. Его трясло, он хватал ртом воздух. Наконец он набрался мужества, повернулся к раковине, заглянул в нее. Глянцевый фарфор. Медь сливного отверстия и куполообразная заглушка. Ничего другого, ничего страшного.

Во сне ванная была не такой. Доминик умылся и вернулся в спальню. Часы на ночном столике показывали всего два двадцать пять ночи.

Хотя сон не имел никакого смысла и, казалось, никакой символической или реальной связи с его жизнью, кошмар был невероятно пугающим. Но он не заколачивал окон, не собирал во сне оружия, так что ухудшение выглядело незначительным.

Случившееся могло быть даже признаком улучшения. Если он будет помнить свои сны, не куски, а полные сны, от начала до конца, он, возможно, сумеет обнаружить причину тревоги, сделавшую его ночным бродягой. У него появится больше шансов справиться с ней.

И все же лечь в кровать он больше не хотел, не хотел рисковать – вдруг он вернется в то странное место из сна. Пузырек с флуразепамом стоял в верхнем ящике ночной тумбочки. Его норма составляла не больше одной таблетки в день, но в маленькой поблажке себе нет ничего страшного.

Доминик подошел к бару в гостиной, налил себе виски «Чивас регал», трясущейся рукой сунул таблетку в рот, запил «Чивасом» и вернулся в кровать.

Он пошел на улучшение. Еще немного – и ночные хождения прекратятся. Через неделю он вернется к норме. Через месяц его сомнамбулизм будет казаться нелепым помрачением, и он будет недоумевать: как он позволил такой глупости взять над ним верх?

Опасно балансируя на дрожащем канате сознания над морем сна, он начал терять равновесие, испытывая приятное чувство мягкого сползания в никуда. Но, погружаясь в сон, он слышал собственное бормотание в темноте спальни, слова были странными – пугали и возбуждали интерес, – но виски и флуразепам, как и полагалось, взяли над ним верх.

«Луна, – хрипло шептал он. – Луна, луна».

Он не мог понять, что имел в виду, и попытался прогнать сон на время, достаточное, чтобы ему разобраться в собственных словах.

– Луна? Луна, – еще раз прошептал он и отключился.

Было три часа одиннадцать минут. Воскресенье. 8 декабря.

## 6

### *Нью-Йорк, штат Нью-Йорк*

Несколько дней спустя после ограбления «фрателланцы» на три с лишним миллиона долларов Джек Твист отправился на свидание с мертвой женщиной, которая все еще дышала.

Стоял воскресный день. В час дня он припарковал свой «камаро» в подземном гараже частной клиники в уважаемом квартале Ист-Сайда, поднялся на лифте в вестибюль, зарегистрировался и получил пропуск посетителя.

Сторонний человек никогда бы не подумал, что это больница. Общественная зона была отделана в стиле ар-деко, популярном во время строительства здания. Здесь были два оригинала картин Эрте, диваны, кресла, столы с аккуратно разложенными журналами. Вся мебель наводила на мысли о 1920-х годах.

Заведение удивляло своей роскошью. Оригиналы Эрте были излишеством. Очевидно, имелись и сотни других необязательных вещей. Но администрация считала, что надо сохранять этот имидж для привлечения клиентов из высшего класса и поддержания годовой прибыли на уровне ста процентов. Здесь лежали самые разные пациенты – кататонические шизофреники,

дети с аутизмом, больные в долгосрочной коме, как молодые, так и старые, – но у них были две общие черты: хронические, а не острые заболевания и наличие состоятельных родственников, способных оплачивать уход по высшему разряду.

Размышляя об этом, Джек всегда злился: почему в городе нет заведения, куда за умеренную плату принимали бы пациентов с катастрофическими черепно-мозговыми травмами или психическими заболеваниями. Несмотря на громадный расход денег налогоплательщиков, больницы Нью-Йорка, как и все больницы в мире, были мрачной шуткой, и средний горожанин был вынужден принимать все как есть из-за отсутствия альтернатив.

Не будь Джек умелым и в высшей степени успешным вором, он не смог бы выплачивать клинике огромные ежемесячные суммы. К счастью, у него был врожденный воровской талант.

Взяв пропуск посетителя, он прошел к другому лифту и поднялся на четвертый этаж – всего их было шесть. Коридоры на верхних этажах, в отличие от вестибюля, выглядели по-больничному. Лампы дневного света. Белые стены. Чистый, едкий, мятный запах дезинфектанта.

В дальнем конце коридора четвертого этажа, в последней комнате справа, жила мертвая женщина, которая продолжала дышать. Джек дотронулся до металлической пластины на тяжелой откидной двери, помедлил, с трудом проглотил слюну, глубоко вздохнул и наконец вошел внутрь.

Комната выглядела не так роскошно, как вестибюль, никакого ар-деко не наблюдалось, но все было очень неплохо, напоминая средний по стоимости номер в «Плазе»: высокий потолок с белой лепниной, камин с белой полкой, ворсистый ковер темно-зеленого цвета, светло-зеленые шторы, зеленый диван с листовым орнаментом и два стула. Как считалось, пациент чувствовал себя счастливее в такой комнате, чем в палате. Впрочем, многие не обращали внимания на обстановку, но этот относительный уют хотя бы не ухудшал настроения приходящих к ним друзей и родственников.

Больничная кровать была единственной уступкой практичности и резко контрастировала со всем остальным, но ее вид смягчался зелеными дизайнерскими простынями.

И только пациент портил приятное настроение, создаваемое интерьером.

Джек опустил защитное ограждение кровати и поцеловал жену в щеку. Та не шелохнулась. Он взял ее руку в свои. Ладонь не ответила ему пожатием, не согнулась, осталась вялой, безжизненной, бесчувственной – но хотя бы теплой.

– Дженни? Это я, Дженни. Как ты сегодня себя чувствуешь? Мм... Выглядишь хорошо. Хорошо выглядишь. Ты всегда хорошо выглядишь.

И в самом деле, для человека, который восемь лет пребывал в коме, человека, который за все это время не сделал ни одного шага, ни разу не почувствовал солнечных лучей или свежего воздуха на своем лице, она выглядела очень хорошо. Но вероятно, только Джек мог искренне сказать, что она все еще прекрасна. Она перестала быть красавицей, но никто бы не подумал, что эта женщина почти десятилетие провела в мрачных играх со смертью.

Волосы потеряли блеск, но оставались густыми и сохранили сочный каштановый оттенок – как четырнадцать лет назад, когда Джек впервые увидел ее за прилавком в отделе мужской парфюмерии «Блумингдейлса». Санитары мыли ей голову два раза в неделю и расчесывали каждый день.

Он мог бы провести рукой под ее волосами, с левой стороны головы, до неестественной, тошнотворной впадины, мог бы прикоснуться к этой впадине, не беспокоя женщину, потому что ее больше ничто не беспокоило, – но не сделал этого: прикосновение обеспокоило бы его самого.

На ее коже не было морщин – ни на лбу, ни даже в уголках закрытых глаз. Она похудела, но не катастрофически. Неподвижная женщина на зеленых дизайнерских простынях, непод-

властная времени, – заколдованная принцесса в ожидании поцелуя, который пробудит ее от векового сна.

Жизнь проявляла себя только в том, как ритмично вздымалась грудь при дыхании и двигалось – почти незаметно – горло при сглатывании слюны. Глотание происходило автоматически, произвольно и ни в коей мере не было признаком сознания.

Повреждение мозга было обширным и необратимым. Движения, которые она совершала, будут единственными доступными для нее движениями – вплоть до смертельных судорог. Надежды не оставалось. Он знал, что надежды нет, и смирился с ее состоянием.

Она бы выглядела гораздо хуже, если бы не постоянный уход. Каждый день к ней приходили физиотерапевты и проводили пассивный комплекс упражнений. Тонус мышц был невысок, но все же был.

Джек взял ее руку и долго смотрел на нее. На протяжении семи лет он приходил к ней дважды в неделю, не считая пяти или шести часов в воскресенье. Несмотря на частоту своих посещений и неизменность ее состояния, он никогда не уставал смотреть на нее.

Он пододвинул стул, сел рядом с кроватью, не выпуская ее руки, глядя на ее лицо, и говорил с ней больше часа. Пересказал фильм, который посмотрел после прошлого посещения, и книги, которые прочел. Поговорил о погоде, о зимнем ветре, сильном и кусачем. Красочно описал великолепные рождественские витрины.

Она не вознаграждала его ни вздохом, ни движением – лежала, как всегда, неподвижная.

И все же он говорил с ней: вдруг внутри ее осталась частичка сознания, лучик ясности в глубокой ночи комы? Вдруг она может слышать и понимать? Тогда самое худшее для нее – оказаться в ловушке бездвижного тела, отчаянно жаждать хотя бы одностороннего общения, но не получать его, ведь все считают, что она не может слышать. Доктора заверяли его, что эти тревоги безосновательны: она ничего не слышит, ничего не видит, ничего не знает, кроме тех образов и фантазий, которые могут вспыхнуть между закороченными нейронами поврежденного мозга. Но если они ошибались, если существовал хоть один шанс на миллион, что они ошибаются? Он не мог оставить ее в этой полнейшей, ужасной изоляции. И поэтому он говорил с ней, а за окном менялись оттенки серого – краски зимнего дня.

В четверть шестого он вышел в примыкающий к комнате туалет, вымыл лицо, вытер его, моргнул, увидев свое отражение в зеркале. И в тысячу первый раз спросил себя, что такого нашла в нем Дженни.

Ни одна черта, ни одно выражение его лица не намекали на красоту. Слишком широкий лоб, слишком большие уши. Зрение было нормальным, но левый глаз чуть косил влево, и большинство людей при разговоре с ним нервно переводили взгляд с одного его глаза на другой, не понимая, какой именно смотрит на них, – а на самом деле смотрели оба. Улыбался он клоунской улыбкой, а когда хмурился, сам Джек-потрошитель бросился бы наутек при виде его.

Но Дженни что-то в нем разглядела. Она хотела его, любила его, он был ей нужен. Хотя сама она была красавицей, внешность Джека ее не заботила. Одна из причин, по которым он так сильно ее любил. Одна из причин, по которым ему так не хватало ее. Одна из тысячи.

Он отвернулся от зеркала. Если существовало одиночество страшнее его нынешнего, дай бог, чтобы оно его не постигло.

Он вернулся в комнату, попрощался с безучастной женой, поцеловал ее, вдохнул еще раз запах ее волос и вышел в половине шестого.

Сидя за рулем «камаро», Джек с ненавистью поглядывал на пешеходов и других водителей. Его соотечественники. Хорошие, милые, кроткие, добродетельные люди из нормального мира посмотрели бы на него с неприязнью и даже отвращением, если бы знали, что он профессиональный вор, хотя на преступный путь его толкнуло то, что они сделали с ним и Дженни.

Он знал, что злость и ожесточение ничего не решат, ничего не изменят – только повредят ему самому. Ожесточение съедало его. Он не хотел ожесточаться, но порой ничего не мог с собой поделать.

Позднее, после одинокого ужина в китайском ресторане, Джек вернулся к себе. Он владел просторной квартирой с одной спальней в жилищном кооперативе: первоклассное здание на Пятой авеню, рядом с Центральным парком. Официально квартира принадлежала компании, зарегистрированной в Лихтенштейне. Компания оплатила покупку чеком, выданным одним швейцарским банком, а жилищные расходы каждый месяц оплачивал с трастового счета «Бэнк оф Америка». Джек Твист жил здесь под именем Филипа Делона. Консьержи, другой обслуживающий персонал и те соседи, с которыми он разговаривал, знали его как странного, со слегка сомнительной репутацией члена богатого французского семейства: его отправили в Америку будто бы для наблюдения за инвестициями, а на самом деле – чтобы он не мозолил глаза родственникам. Он бегло говорил по-французски и мог часами говорить по-английски с убедительным французским акцентом, ни разу не ошибившись и не разоблачив себя. Конечно, никакой французской семьи не существовало, лихтенштейнская компания, как и счет в швейцарском банке, принадлежали ему, и все, что он мог инвестировать, было похищено у других. Он был необычным вором.

Джек прошел в гардеробную, примыкавшую к спальне, удалил фальшивую перегородку в ее конце, вытащил два пакета из тайного хранилища глубиной в три фута, даже не включив света, перенес их в темную гостиную, положил рядом со своим любимым креслом у большого окна. Потом отправился на кухню, достал бутылку «Бекса» из холодильника, открыл ее и вернулся в гостиную. Сев у окна, в темноте, он стал смотреть на парк, где свет отражался от покрытой снегом земли, порождая странные тени в голых ветвях деревьев.

Он тянул время и знал это. Наконец он включил настольную лампу рядом с креслом, взял меньший из двух пакетов, открыл, начал просматривать содержимое.

Драгоценности. Бриллиантовые подвески, бриллиантовые кольца, сверкающие бриллиантовые ожерелья. Браслет с бриллиантами и изумрудами. Три браслета с бриллиантами и сапфирами. Кольца, броши, заколки, булавки, шляпные заколки с драгоценными камнями.

Все это досталось ему после ограбления, которое он провернул шесть недель назад. Вообще-то, на такое дело идут вдвоем, но, тщательно и умело все спланировав, он нашел способ, как справиться одному, и все прошло гладко.

Единственная проблема состояла в том, что он не получил никакого удовлетворения. Обычно, справившись с работой, Джек несколько дней ходил в приподнятом настроении. С его точки зрения, это были не простые преступления, но акты возмездия правильным людям за то, что те сделали с ним и Дженни. До двадцати девяти лет он отдавал всего себя обществу, стране, а в награду оказался в адской центральноамериканской дыре с диктаторским режимом, оставленный гнить в одной из местных тюрем. А Дженни... Невыносимо было думать о том, в каком виде он нашел ее, когда наконец бежал и вернулся домой. Теперь он больше ничего не отдавал обществу – только брал у него. И получал от этого огромное удовольствие. Больше всего ему нравилось нарушать правила, брать то, что хотел, и оставаться безнаказанным; так было вплоть до кражи драгоценностей, случившейся шесть недель назад. Завершив ту операцию, он не почувствовал торжества, не ощутил, что возмездие состоялось. Отсутствие возбуждения пугало его. В конечном счете ради этого он и жил.

Сидя в кресле у окна, он высыпал драгоценности себе на колени, потом стал брать одну вещь за другой, рассматривая на свет, пытаясь вновь почувствовать радость мести.

Ему следовало избавиться от драгоценностей сразу же после ограбления. Но он не хотел расставаться с украденным, не получив от него хоть сколько-нибудь удовольствия.

Обеспокоенный отсутствием эмоций, он сложил драгоценности в пакет.

В другом пакете была его доля от ограбления склада «фрателланцы». Им удалось открыть только один из двух сейфов, но там оказалось чуть больше трех миллионов ста тысяч долларов – по миллиону с лишним на душу – в неотслеживаемых купюрах по двадцать, пятьдесят и сто долларов.

Пора было уже переводить наличность в кассовые чеки и другие платежные средства для отправки по почте на его швейцарские счета. Он, однако, не торопился, потому что, как и в случае с драгоценностями, еще не испытал ощущения торжества.

Он вытащил из пакета туго перевязанные пачки и взвесил в руках. Поднес к лицу, понюхал. Деньги пахнут по-особому, и обычно один только запах вызывал у него возбуждение, но не на сей раз. Он не чувствовал торжества, не чувствовал себя умным, стоящим выше закона, не чувствовал превосходства над мышами, послушно пробиравшимися по лабиринтам общественного устройства так, как их научили. Он чувствовал только одно – опустошение.

Если бы перемена случилась после работы на складе, он бы объяснил это тем, что ограбил других воров, а не правильных людей. Но эту же реакцию он отмечал и после кражи драгоценностей, а ведь в тот раз жертвой стал законный бизнес. Именно апатия после ограбления ювелирного магазина заставила его провести следующую операцию раньше намеченного. Обычно он ходил на дело раз в три или четыре месяца, но между двумя последними операциями прошло только пять недель.

Ну хорошо, может быть, привычный трепет не приходил, потому что деньги стали не важны для него. Он отложил достаточно, чтобы жить в достатке до конца дней и заботиться о Дженни, даже если она проживет в коме больше среднего срока, что было маловероятно. Может быть, все это время главным в его работе был не бунт и не вызов обществу, как считал Джек, и он совершал все это ради денег, а остальное – дешевая рационализация и самообман.

Но он не мог в это поверить. Он помнил, что чувствовал прежде, и понимал, насколько ему теперь не хватает этого чувства.

Что-то с ним происходило, какой-то внутренний сдвиг, разворот. Он ощущал себя пустым, потеряннным, потерявшим цель в жизни. Он не хотел лишиться страсти к кражам. Других причин жить у него не было.

Он положил деньги в пакет, выключил свет и сидел в темноте, прихлебывая «Бекс» и глядя на Центральный парк.

Вдобавок к потере радости от работы, его стал преследовать повторяющийся кошмар, более яркий, чем любой сон, виденный им прежде. Это началось шесть недель назад, до операции в ювелирном магазине, и с тех пор кошмар посещал его восемь, девять, а может, и десять раз. Во сне он убегал от человека в мотоциклетном шлеме с темным щитком. Ему казалось, что это мотоциклетный шлем, хотя он не видел его в подробностях, как не видел и человека. Безликий чужак преследовал его, бежал за ним по непонятным комнатам, по бесконечным коридорам, но самой живой сценой была погоня по пустому хайвею, прорезавшему безлюдный, залитый лунным светом ландшафт. В каждом случае паника нарастала, как давление в паровом котле, и наконец взрыв будил его.

Очевидное толкование было таким: сон – предупреждение, мужик в шлеме – коп, а значит, Джека поймают. Но нет, кошмар порождал другое чувство. Во сне у Джека никогда не возникало ощущения, что мужик в шлеме – коп. Было что-то другое.

Он надеялся, что сон, черт побери, не повторится сегодня. День и без того был достаточно скверным, чтобы закончиться полуночным кошмаром.

Он взял еще пива, вернулся в кресло у окна и продолжил сидеть в темноте.

Было 8 декабря. Джек Твист, бывший офицер элитного рейнджерского подразделения армии США, взятый в плен на необъявленной войне, помогший спасти жизни более тысячи индейцев в Центральной Америке, человек, который нес груз скорби, непосильной для большинства, бесстрашный вор, чьи запасы мужества никогда не истощались, спрашивал себя,

осталось ли в нем самое обычное мужество, необходимое, чтобы жить дальше. Если он больше не находил смысла в воровстве, надо было найти новый смысл в жизни. Иначе никак.

## 7

### *Округ Элко, Невада*

Эрни Блок нарушил все ограничения скорости на пути из городка Элко в мотель «Транквилити».

В последний раз он ездил так быстро и бесшабашно в мрачное утро понедельника, когда служил в разведке корпуса морских пехотинцев во Вьетнаме. Он сидел за рулем джипа, проезжая по вроде бы дружественной территории, и неожиданно попал под вражеский огонь. Снаряды поднимали фонтаны земли, взметали в воздух куски щебня всего в нескольких футах от бамперов его машины, спереди и сзади. Наконец он выехал из зоны обстрела, чудом избежав примерно двадцати попаданий. Все же он получил три ранения – небольших, но мучительных – от зазубренных осколков мины, временно оглох от громких взрывов и поймал себя на том, что пытается контролировать движение джипа, который едет на четырех дисках при сдувшихся покрышках. Выжив, он решил, что познал страх настолько глубокий, насколько это вообще возможно.

Но, возвращаясь из Элко, он испытывал страх посильнее того, вьетнамского.

Приближалась темнота. Вскоре после полудня он, оставив Фей за стойкой портье, сел в «додж» и отправился в транспортную компанию – забрать заказанные для мотеля световые приборы. У него вполне хватало времени, чтобы съездить туда и вернуться до наступления сумерек.

Но у него спустило колесо, и он потерял время, меняя его. Затем, добравшись до Элко, он потратил почти час на ремонт шины, потому что не хотел возвращаться домой без запасного колеса. Так или иначе – из Элко он выехал почти на два часа позже, чем собирался, и солнце уже клонилось к западу, к дальней кромке Большого бассейна.

Большую часть пути он выжимал педаль акселератора до отказа, обгоняя всех. Он знал, что, если придется ехать в полной темноте, до дому он не доберется. Утром его найдут за рулем стоящего на обочине фургона, но к тому времени он окончательно сойдет с ума от ужаса, проведя ночь в созерцании абсолютно черного ландшафта.

Две с половиной недели, начиная со Дня благодарения, Эрни скрывал от Фей свой иррациональный страх перед темнотой. После ее возвращения из Висконсина он понял, что теперь ему трудно спать без включенной лампы: в отсутствие жены он не гасил свет. Каждое утро он закапывал в опухшие глаза «Мурайн». К счастью, Фей ни разу не предложила съездить в Элко, чтобы посмотреть кино, а потому Эрни мог не придумывать поводов для отказа. Несколько раз после захода солнца ему приходилось покидать мотель и бежать в стоявшее рядом гриль-кафе «Транквилити», и, хотя тропинка хорошо освещалась наружными лампами и рекламными щитами мотеля, Эрни переполняло ощущение собственной хрупкости и уязвимости.

И во время службы в морской пехоте, и после этого Эрни Блок старался как можно лучше делать то, что от него требовалось, оправдывать ожидания. И теперь поклялся себе сделать все возможное, чтобы не подвести жену.

Сидя за рулем «доджа» на пути к мотелю «Транквилити», под вязким оранжево-фиолетовым солнцем, Эрни Блок думал о своей проблеме. Преждевременный старческий маразм или болезнь Альцгеймера? Третьего быть не может. Хотя ему всего лишь пятьдесят два, у него наверняка что-то вроде Альцгеймера. Да, это его пугало, но, по крайней мере, не вызывало вопросов.

Да, вопросов не было, но согласиться с этим он не мог. От него зависела Фей. Он не мог стать душевнобольным инвалидом, обузой для нее. Мужчины из семьи Блоков никогда не подводили своих женщин. Никогда. Нельзя было и думать об этом.

Хайвей огибал небольшой холм. До мотеля (единственного здания, видимого на бескрайних просторах), расположенного к северу от восьмидесятой федеральной трассы, оставалось около мили. Его неоновый сине-зеленый щит уже был включен и пронзительно-ярко горел на фоне сумеречного неба. Эрни в жизни не видел ничего более привлекательного.

До полной темноты еще оставалось десять минут, и он решил не рисковать по-глупому – что, если коп остановит его так близко от убежища? Он отпустил педаль газа, и стрелка спидометра стала падать: девяносто... восемьдесят пять... семьдесят пять... шестьдесят...

Он был в трех четвертях мили от дома, когда случилось что-то странное. Он посмотрел в сторону юга, и у него перехватило дыхание. Он не знал, что его испугало. Что-то в ландшафте. Что-то в игре света и тени на склонах, занятых полями. Им внезапно овладела странная мысль: этот конкретный участок земли с противоположной стороны шоссе, протянувшийся на полмили, крайне важен для понимания невероятных изменений, которые происходят с ним в последние несколько месяцев.

Пятьдесят... сорок пять... сорок...

Он не замечал ничего, что отличало бы этот клочок земли от десятков тысяч акров вокруг него. К тому же Эрни видел его тысячи раз и совершенно им не заинтересовался. И тем не менее что-то в наклоне местности, в мягко изогнутых контурах земли, в рассекающей его напополам ране высохшего ручья, в чередовании полыни и травы, в проглядывавших там и сям выходах скальной породы, казалось, требовало: «Исследуй меня».

Сама земля словно говорила: «Здесь, здесь, здесь ты найдешь то, что поможет решить твою проблему, поможет объяснить твой страх перед ночью. Здесь. Здесь...» Но это было смешно.

К своему удивлению, Эрни вдруг понял, что съезжает на обочину и останавливается в четверти мили от дома, неподалеку от съезда на дорогу окружного значения, которая проходит мимо мотеля. Он прищурился, глядя через шоссе на юг – на то место, которое таинственным образом привлекло его внимание.

Его охватило удивительное ощущение грядущего озарения, чувство, что с ним вот-вот произойдет нечто невероятно важное. Кожу на затылке покалывало.

Он вышел из фургона, не выключив двигатель, и, охваченный эйфорией, объяснить которую не мог, направился через дорогу, чтобы лучше разглядеть очаровавший его участок. Пересек двухполосную проезжую часть, спустился в расщелину двадцатифутовой ширины, разделявшую трассу надвое, поднялся по другому ее склону, пропустил три здоровенных грузовика, промчавшихся на восток, пересек вторую половину дороги в вихревых потоках, возникавших после проезда машин. Сердце стучало с необъяснимым возбуждением, он даже забыл на время о приближающейся темноте. Он остановился на дальнем краю обочины, в самом высоком месте трассы, глядя на юг и немного на запад. Сегодня он надел свободную замшевую куртку с подкладкой из овчины, но коротко стриженные седые волосы почти не защищали от пронизывающего ветра, который скреб холодными костяшками пальцев по его голове.

Он начал терять ощущение, что сейчас случится нечто крайне важное. Вместо этого вдруг пришла еще более пугающая мысль – будто с ним уже случилось что-то на этом клочке погружающейся во мрак земли, то, что стало причиной его страха перед темнотой. То, что он настойчиво прогонял из памяти.

Но это не имело смысла. Если здесь происходили важные события, они не ушли бы из его памяти просто так. Он не был забывчивым человеком. И не принадлежал к тем, кто прогоняет неприятные воспоминания.

Но он по-прежнему ощущал покалывание в затылке. Где-то там, на этих бескрайних равнинах Невады, неподалеку отсюда, с ним случилось то, о чем он забыл, но теперь оно кольнуло его, высунувшись из подсознания, где сидело глубоко-глубоко. Так игла, случайно оставленная в одеяле, может уколоть, напугать и разбудить спящего.

Широко расставив ноги, крепко уперев ступни в обочину, склонив шишковатую голову к широкому плечу, Эрни, казалось, приказывал ландшафту выражаться яснее. Он напрягся, чтобы оживить умершее воспоминание об этом месте, если оно существовало, но чем больше он терзал память, пытаясь нащупать ускользающее откровение, тем больше оно ускользало. А потом исчезло вовсе.

Дежавю ушло так же, как и ощущение надвигающейся радости, исчезнувшее чуть раньше. Никакого пощипывания кожи на затылке и шее. Бешено стучавшее сердце постепенно успокоилось.

Ошеломленный и слегка сбитый с толку, он разглядывал быстро погружавшийся в темноту пейзаж – склон, зубья скальной породы, кустарник и траву, обветренную древнюю землю с ее выступами и впадинами – и не понимал, почему это место показалось ему особенным. Он видел перед собой часть плоскогорья, неотличимого от тысячи других мест, если ехать отсюда в Элко или в Бэтгл-Маунтин.

Сбитый с толку неожиданной переменой – только что он был на границе трансцендентного знания и вот вернулся в будничные мир, – он повернулся к фургону, ждавшему его по другую сторону федеральной трассы. Едва пришло осознание собственной глупости, как он, охваченный странным возбуждением, бросился через шоссе. Он надеялся, что Фей не видела его. Если по какой-то случайности она была у окна и смотрела в эту сторону, то наверняка видела устроенное им представление: от мотеля его отделяло всего четверть мили, а мигание аварийки на машине делало ее самым заметным объектом в быстро опускающейся темноте.

Темнота.

Внезапно вспомнив о том, что до наступления темноты остается несколько минут, Эрни Блок чуть не лишился сознания. Некоторое время таинственный магнетизм, влекший его к этому месту, был сильнее страха перед тьмой. Но все изменилось в одно мгновение, когда он понял, что восточная половина неба уже сделалась фиолетово-черной, а в западной части оставались считанные минуты до исчезновения меркнувшего света.

Он издал панический крик и, забыв об опасности, бросился через дорогу прямо перед домом на колесах. Водитель недовольно загудел. Не обращая ни на что внимания, он мчался сломя голову, чувствуя, как тьма хватается за горло, душил его. Добежал до неглубокой расщелины – разделительной полосы, – начал спускаться, упал, перекатился через спину, встал, до смерти напуганный чернотой, поднимавшейся из каждой впадины в земле, из-под каждого камня. Поднялся по противоположному склону. Хорошо, что движения в западном направлении не было, ведь он не дал себе труда посмотреть на дорогу. У фургона он несколько секунд возился с ручкой, остро ощущая кромешную черноту под машиной. Та хватала его за ноги. Хотела затащить под «додж» и проглотить. Он дернул дверцу на себя. Вырвал ноги из лап тьмы. Бросился в машину. Хлопнул дверцей. Запер ее.

Он почувствовал себя лучше, но все еще не в безопасности, и, если бы от дома его не отделяли несколько сот футов, он бы впал в ступор из-за паники. Ему оставалось проехать всего четверть мили. Когда он включил фары, мрак отступил, и это придало ему сил. Его так отчаянно трясло, что он не был уверен, сумеет ли вписаться в трафик, а потому ехал по обочине до самого съезда; вдоль дороги и у основания насыпи горели натриевые фонари. Появилось искушение остановиться внизу, среди желтого сияния, и остаться там, но он сжал зубы и свернул на неосвещенную дорогу окружного значения. Через две сотни ярдов Эрни добрался до въезда на территорию мотеля. Въехал на парковку, поставил фургон перед входом в конторку, выключил фары, заглушил двигатель.

За большими прозрачными дверями конторки он увидел Фей, сидевшую за столом, поспешил внутрь, слишком сильно хлопнул дверью. Когда жена подняла голову, он послал ей улыбку, надеясь, что та выглядит убедительно, несмотря на его смятение.

– Я начала волноваться, дорогой, – сказала она, улыбаясь в ответ.

– Покрышку проколел, – сказал он, расстегивая молнию на куртке.

Он почувствовал некоторое облегчение. Справиться с наступающей ночью было проще, когда ты не один. Фей придавала ему сил, но все же он чувствовал себя не в своей тарелке.

– Я скучала без тебя, – сказала она.

– Да меня всего полдня не было.

– Значит, я наркоманка. Мне показалось, дольше. Видимо, нужно принимать моего Эрни каждые два часа, чтобы не начиналась ломка.

Оба наклонились над стойкой, каждый со своей стороны, и от всей души поцеловались. Фей положила руку на затылок Эрни, чтобы прижать его к себе. Большинство пар, давно состоящих в браке, довольно сдержанны в проявлениях чувств, даже если сохранили любовь, но у них дело обстояло иначе. После свадьбы прошел тридцать один год, но Фей умела сделать так, чтобы муж почувствовал себя молодым.

– Ну и где новые светильники? – спросила она. – Привезли? Перевозчики тебя не обманули?

Вопрос вернул Эрни к реальности – к острому ощущению ночи снаружи. Он посмотрел на окна и быстро отвернулся:

– Нет-нет, все в порядке. Но что-то я устал. Не хочется тащить их сюда сегодня.

– Всего четыре упаковки...

– Нет, правда, лучше сделаю это утром, – сказал он, стараясь, чтобы его голос не дрожал. – Ничего с ними в машине не случится. Никто их не тронет. Эй, ты развесила рождественские украшения!

– А ты только что заметил?

Огромный венок с сосновыми шишками висел на стене над диваном, картонная фигура Санта-Клауса стояла в углу рядом с подставкой для открыток, а маленькие керамические санки с керамическим оленем разместились на одном из концов длинной стойки. С потолка на прозрачных лесках свешивались красные с золотом елочные шары.

– Тебе пришлось брать лестницу, – сказал он.

– Стремянку.

– А если бы ты упала? Нужно было оставить это мне.

Фей покачала головой:

– Дорогой, клянусь тебе, я не хрупкая барышня. Успокойся. Вы, бывшие морпехи, слишком уж далеко заходите в своем мачизме.

– Правда?

Открылась наружная дверь, вошел дальнбойщик, спросил, есть ли свободные номера.

Эрни задерживал дыхание, пока дверь не закрылась.

Это был худощавый человек в ковбойской шляпе, джинсовой куртке, ковбойской рубашке и джинсах. Фей похвалила шляпу, усеянную бирюзовыми камешками, с замысловатым тиснением на кожаной ленте. Со всегдашней легкостью она, занимаясь регистрацией, заставила незнакомца почувствовать себя ее старым другом.

Эрни тем временем пытался забыть странные ощущения, испытанные на федеральной трассе, и прогнать мысли о приближающейся ночи. Зайдя за стойку, он повесил куртку на медный крючок в углу у шкафа с архивом, потом подошел к дубовому столу, где под пресс-папье лежала пачка писем. Счета, как же без них. Реклама. Просьба о пожертвовании. Первые рождественские поздравления в этом году. Чек с его военной пенсией.

Потом он увидел белый конверт без обратного адреса, в котором оказалась цветная поляроидная фотография, снятая перед мотелем у дверей девятого номера. Муж, жена, ребенок. Мужу под тридцать, смуглый и красивый. Женщина года на два моложе, хорошенькая брюнетка. Маленькая девочка пяти-шести лет, очень миленькая. Все трое улыбаются в камеру. Судя по одежде – шорты, футболки – и качеству света на фотографии, Эрни предположил, что снимок сделан в середине лета.

Он недоуменно покрутил фото в руках в поисках каких-либо объяснений. Задник был чистым. Он снова осмотрел конверт – ничего: ни письма, ни открытки, ни визитки отправителя. Почтовый штемпель свидетельствовал о том, что фотографию отправили из Элко 7 декабря, в прошедшую субботу.

Он снова посмотрел на фотографию и, хотя не вспомнил этих людей, почувствовал, как по коже побежали мурашки, – то же самое он испытал сегодня на шоссе, когда оглядывал местность по другую сторону федеральной трассы. Сердцебиение участилось. Он быстро отложил фотографию, отвернулся от нее.

Фей все еще болтала с ковбоем-дальнобойщиком, потом сняла ключ с доски и передала его клиенту.

Эрни не сводил глаз с жены. Она действовала на него успокаивающе. Когда они познакомились, она была прелестной девушкой с фермы, а потом превратилась в еще более прелестную женщину. Ее светлые волосы, возможно, начали седеть, но трудно было сказать наверняка. Ясные голубые глаза смотрели с открытого дружелюбного лица, типичного для Айовы, чуточку дерзко, но всегда приветливо, даже добродушно.

К тому времени, когда ковбой-дальнобойщик ушел, Эрни перестало трясти. Он показал Фей фотографию:

– Что ты об этом думаешь?

– Это девятый номер. Вероятно, останавливались у нас. – Она прищурилась, глядя на фотографию молодой пары с ребенком. – Но не могу сказать, что я их помню. Совсем незнакомые люди.

– Тогда почему они прислали нам снимок без всяких пояснений?

– Очевидно, думали, что мы их вспомним.

– Но если они так думали, то должны были прожить здесь несколько дней и познакомиться с нами. А я их совсем не знаю. Но я наверняка запомнил бы малышку, – сказал Эрни. Он любил детей, и те отвечали ему взаимностью. – С такой мордашкой надо в кино сниматься.

– Я думаю, ты бы запомнил мать. Красавица.

– Почтовый штемпель Элко, – сказал Эрни. – Зачем приезжать в наш мотель из Элко?

– Может, они не живут в Элко. Были там прошлым летом, проезжали через Элко недавно, собирались заглянуть к нам, но времени не хватило. И отправили фотографию оттуда.

– Без записки.

– Да, странно, – согласилась Фей.

Эрни взял у нее фотографию:

– К тому же это поляроид. Проявляется через минуту, после того как снимешь. Если бы они хотели оставить снимок нам, то сделали бы это сразу.

Открылась дверь, и в мотель вошел человек с копной курчавых волос и кустистыми усами, дрожавший от холода.

– Остались еще номера? – спросил он.

Пока Фей регистрировала гостя, Эрни с фотографией ушел за дубовый стол. Он собирался взять почту и подняться на второй этаж, но почему-то остался у стола и принялся разглядывать лица на снимке.

Был вечер вторника, 10 декабря.

## 8

### *Чикаго, Иллинойс*

Брендан Кронин отправился на работу санитаром в детскую больницу Святого Иосифа. Только доктор Макмерти знал, что перед ним священник. Врач пообещал отцу Вайкезику сохранить все в тайне и торжественно заверил, что Брендана нагрузят работой – и неприятной работой – как обычного санитаря. Поэтому в первый же день Брендан выносил судна, менял пропитанные мочой простыни, помогал физиотерапевту делать пассивные упражнения с пациентами, прикованными к кровати, кормил с ложечки восьмилетнего полупарализованного мальчика, возил кресла-каталки, подбадривал подавленных пациентов, убирал рвоту двух юных раковых больных, только что прошедших химию. Никто не ублажал его, не называл «отцом». Сестры, доктора, санитары, волонтеры и пациенты называли его Бренданом, и он чувствовал себя неловко, словно самозванец, участвующий в маскараде.

В первый день его одолевали жалость и боль при виде детей в больнице, дважды он ускользал в туалет для мужского персонала, запирался в кабинке и рыдал там. Скрюченные ноги, распухшие суставы – последствия ревматоидного артрита, мучителя невинных детей, – были для него слишком ужасным зрелищем. Страдающие мышечной дистрофией, жертвы ожогов с загнивающими ранами, избитые дети, над которыми издевались родители, – он плакал обо всех.

Он не мог понять, с чего вдруг отец Вайкезик решил, будто эти обязанности помогут ему вернуть утраченную веру. Напротив, вид стольких страдающих детей только усиливал его сомнения. Если сострадательный католический бог и в самом деле существует, если есть Иисус, почему Он допускает, чтобы невинные корчились в муках? Брендан, конечно, знал все обычные богословские доводы. Человечество само наслало на себя зло всевозможных видов, говорила церковь, потому что отвернулось от божественной благодати. Но богословские доводы мало чего стоили, когда ты смотрел в глаза маленьких жертв судьбы.

На второй день персонал продолжал называть его Бренданом, а дети окрестили Толстячком – давно забытое прозвище, о котором он поведал им, рассказывая одну забавную историю. Им нравились его истории, шутки, стишки и глупые каламбуры, он обнаружил, что почти всегда смешит их или по меньшей мере вызывает улыбки. В этот день он тоже плакал в мужском туалете, но лишь один раз.

На третий день Толстячком его называли уже не только дети, но и персонал. Будь у него другое призвание, кроме служения Богу, он бы нашел себя в больнице Святого Иосифа. Кроме обычных обязанностей санитаря, он развлекал пациентов комической болтовней, дразнил их, отвлекал от болезней. Куда бы он ни приходил, его встречали криками «Толстячок!», и это было наградой получше денег. В тот день он плакал только в номере отеля, который снял на время необычной терапии отца Вайкезика.

К середине среды, седьмого дня, он уже знал, почему отец Вайкезик отправил его в больницу. Понимание пришло, когда он расчесывал волосы десятилетней девочки, искалеченной редким заболеванием костей.

Ее звали Эммелайн, и она по праву гордилась своими волосами, густыми, глянцевыми, цвета воронова крыла, – их здоровый блеск, казалось, был протестом против истощавшей ее болезни. Она с удовольствием расчесывала волосы каждый день, совершая по сто движений расческой, но нередко суставы пальцев или кисти так воспалялись, что она не могла держать расческу.

В среду Брендан посадил девочку в кресло и отвез в рентгенологию, где проверяли, как новое лекарство действует на ее костный мозг, а через час, в палате, стал расчесывать ей

волосы, легонько проводя расческой по шелковистым локонам. Эмми смотрела в окно, зачарованная зимним пейзажем.

Скрюченной, как у восьмидесятилетней старухи, рукой она показала на крышу другого, более низкого крыла больницы:

– Видишь снежное пятно, Толстячок?

Внутри здания было тепло, и почти весь снег стал рыхлым и сполз по наклонной крыше, но на темной черепичной дранке осталось большое снежное пятно.

– Похоже на корабль, – сказала Эмми. – По форме. Ты видишь? Красивый старый корабль с тремя белыми парусами, скользящий по черепичному морю.

Некоторое время Брендану не удавалось увидеть то, что видела она. Но Эмми продолжала описывать воображаемое судно, и когда он в четвертый раз оторвал взгляд от ее волос, то вдруг понял, что пятно снега и в самом деле очень похоже, восхитительно похоже на плывущий под парусами корабль.

Длинные сосульки, свисавшие с окна палаты Эмми, представлялись Брендану прозрачными решетками, а больница – тюрьмой, в которой она отбывает пожизненное заключение. Но для Эмми эти сталактиты были чудесным рождественским украшением, создавая, по ее словам, праздничное настроение.

– Бог любит зиму так же, как Он любит весну, – сказала Эмми. – Смена времен года – это Его подарок нам, чтобы мы не скучали в этом мире, один из подарков. Так нам сказала сестра Катерина, и я сразу же поняла, что это правда. Когда лучи солнца попадают на сосульки, у меня на кровати появляются радуги. Ах, какие красивые радуги, Толстячок! Лед и снег похожи... они похожи на драгоценные камни... и на горностаевые мантии, которыми Господь накрывает мир зимой, чтобы мы ахали и охали. Вот почему Он никогда не создает две одинаковые снежинки. Это способ напомнить нам, что мир, который Он создал для нас, – удивительный, удивительный мир.

И, словно по команде, с серого декабрьского неба, вихрясь, посыпались снежинки.

Несмотря на ее почти неподвижные ноги и скрюченные руки, несмотря на боль, которую ей приходилось терпеть, Эмми верила в доброту Бога и во вдохновенную правильность мира, созданного Им.

Сильная вера и в самом деле была свойственна почти всем детям в больнице Святого Иосифа. Убеждение, что заботливый Отец наблюдает за ними из своего Небесного Царства, придавало им сил.

В голове Брендана звучал голос отца Вайкезика: «Если эти невинные так сильно страдают и не теряют при этом веры, какие жалкие оправдания можешь привести ты, Брендан? Возможно, в своей невинности и наивности они знают то, о чем ты забыл, получая образование в Риме. Может быть, тебе стоит извлечь из этого урок, Брендан? Ты так не считаешь? Подумай. Хоть какой-нибудь урок?»

Но урок был недостаточно действенным, чтобы вера вернулась к Брендану. Он действительно был глубоко тронут удивительным мужеством этих детей перед лицом таких испытаний, но это отнюдь не убеждало его, что заботливый и сострадательный Бог на самом деле существует.

Он сто раз прошелся расческой по волосам Эмми, потом еще десять раз – ей было приятно, – потом переложил ее из кресла в кровать. Натянув одеяло на несчастные скрюченные ноги девочки, он почувствовал прилив ярости, как во время мессы в Сент-Бетт в позапрошлом воскресенье. Если бы под рукой у него оказалась священная чаша, он бы снова, не задумываясь, швырнул ее о стену.

Эмми охнула. Брендана вдруг посетило странное чувство, будто она читает его богохульные мысли.

– Ой, Толстячок, ты ударился!

Он моргнул, глядя на нее:

– Ты о чем?

– Ты не обжегся? Руки. Когда ты обжег руки?

Сбитый с толку ее вопросом, он посмотрел на свои руки с тыльной стороны, перевернул их и удивился: в середине каждой ладони было красное кольцо – воспаленная, распухшая кожа, – четко очерченное, диаметром в два дюйма и шириной не более чем в полтора: идеальный круг, причем кожа вокруг и внутри кольца была вполне нормальной. Отметины казались нарисованными, но когда Брендан кончиком пальца прикоснулся к одному из колец, то ощутил волдырь, образовавшийся на ладони.

– Странно, – сказал он.

Доктор Стэн Хитон, дежурный врач в отделении скорой помощи больницы Святого Иосифа, стоял у смотрового стола, на котором сидел Брендан, и с интересом разглядывал странные кольца на его руках. Наконец он спросил:

– Болит?

– Нет. Ничуть.

– Зуд? Ощущение жжения?

– Нет. Ничего такого.

– Может, хотя бы щиплет? Нет? Раньше такого не было?

– Никогда.

– У вас есть какая-нибудь аллергия? Нет? Мм... на первый взгляд похоже на слабый ожог, но вы бы запомнили, если бы оперлись на что-нибудь настолько горячее. Вы бы почувствовали боль. Значит, исключено. Как и контакт с кислотой. Вы сказали, что возили маленькую девочку в радиологию.

– Да, но я не находился в кабинете, когда делали рентген.

– На радиационный ожог тоже не очень похоже. Может быть, дерматомикоз, грибковое заболевание, или разновидность кольцевых червей, хотя симптомов для этого недостаточно. Ни шелушения, ни зуда. И затем, кольцо слишком четко очерчено: не похоже на воспаление, которое наблюдается при микроспоридии или стригущем лишае.

– К чему же мы тогда приходим?

Хитон задумался, потом сказал:

– Не думаю, что это серьезно. Скорее всего, сильная реакция на неизвестную аллергию. Если будет продолжаться, придется сделать стандартные кожные пробы на аллергию: это позволит найти источник проблемы.

Он отпустил руки Брендана, сел за стол, стоявший в углу, и начал заполнять рецепт.

Озадаченный Брендан уставился на свои руки, потом сложил их на коленях.

Не прекращая писать, Хитон сказал:

– Я начну с простейшего: лосьон с кортизоном. Если круги не исчезнут через два дня, приходите снова.

Он вернулся к смотровому столу с рецептом в руке. Брендан взял у него бумажку:

– Скажите, нет ли опасности, что инфекция передастся кому-нибудь из ребят и все такое?

– Нет-нет, если бы я считал, что есть хоть малейшая опасность, то сказал бы вам, – проговорил Хитон. – Дайте посмотреть еще раз, напоследок.

Брендан протянул ему руки ладонями вверх.

– Что за черт? – удивленно сказал доктор Хитон.

Кольца исчезли.

Той ночью в «Холидей-инн» Брендана опять преследовал знакомый уже кошмар, о котором он рассказывал отцу Вайкезику. За прошедшую неделю этот кошмар мучил его дважды.

Ему снилось, будто он лежит в незнакомом месте, руки и ноги связаны ремнями или фиксаторами. Из тумана к нему тянутся две руки, облаченные в отливающие блеском черные перчатки.

Он проснулся в ворохе напивавшихся потом простыней, сел на кровати, откинулся на изголовье, давая сну время рассеяться, пока пот высыхает на лбу. В темноте поднес руки к лицу, чтобы вытереть его, и окаменел, когда ладони коснулись щек. Включил лампу. Красные кольца, участки воспаленной кожи, вернулись на ладони. И тут же исчезли, прямо у него на глазах.

Был четверг, 12 декабря.

## 9

### *Лагуна-Бич, Калифорния*

Доминик Корвейсис считал, что проспал ночь на четверг без всяких приключений. Он проснулся в кровати точно в том положении, в каком заснул, словно ночью не сдвинулся ни на дюйм.

Но когда он сел за работу и включил Displaywriter, то был поражен свидетельствами своих сомнамбулических странствий, которые обнаружили на дискете. В своем ночном трансе он явно включил машинку, как уже бывало несколько раз, и стал набирать одно и то же слово. Если прежде он набирал «Мне страшно», то сейчас – кое-что другое:

Луна. Луна. Луна. Луна.

Луна. Луна. Луна. Луна.

Четыре буквы, повторявшиеся сотни раз. Доминик тут же вспомнил, как бормотал это же слово в состоянии полусонного забытья, ложась спать в прошлое воскресенье. Охваченный ужасом, он долго смотрел на экран, не имея ни малейшего представления о том, какой особый смысл может иметь для него слово «луна».

Лечение валиумом и флуразепамом дало свои результаты. Хождения во сне прекратились, никаких снов он не видел с прошлого уик-энда, после того кошмара, когда его макали лицом в раковину. Он еще раз съездил к доктору Коблецу, и тот остался доволен его быстрым выздоровлением.

Коблец сказал:

– Я продлю курс, только смотрите не принимайте валиум больше одного раза в день. Максимум – два.

– Я этого никогда не делаю, – солгал Доминик.

– И только одну таблетку флуразепама перед сном. Не хочу, чтобы у вас выработалась зависимость. Уверен, к новому году мы победим эту напасть.

Доминик поверил Коблецу, а потому не стал беспокоить доктора признанием, что случались дни, когда он держался только с помощью валиума, и ночи, когда он принимал по две и даже три таблетки флуразепама, порой запивая их пивом или виски. Но через пару недель он сможет перестать принимать лекарства без страха, что сомнамбулизм снова схватит его за горло. Лечение действовало. Вот что было важно. Лекарства, слава богу, давали результат.

До этого дня.

«Луна».

Злой и разочарованный, он стер слова с дискеты – сотня строк, по четыре повтора на строке.

Доминик долго смотрел на экран, и его тревога росла.

Наконец он принял валиум.

Тем утром Доминик не стал работать. В одиннадцать тридцать они с Паркером Фейном забрали Денни Улмса и Нюгена Као Трана, двух ребят, приписанных к ним отделением «Старших братьев Америки»<sup>16</sup> в округе Ориндж. Они собирались поваляться на пляже, пообедать в «Гамбургер-хамлет» и посмотреть кино. Доминик с нетерпением ожидал этой вылазки.

Он начал сотрудничать со «Старшими братьями» несколькими годами ранее в Портленде, штат Орегон. Никакого другого участия в общественной жизни он не принимал. Это занятие было единственным, позволявшим ему выбираться из кроличьей норы.

Сам Доминик в детстве жил у нескольких приемных родителей, где чувствовал себя одиноким и все больше замыкался в себе. Он надеялся, что когда-нибудь женится и усыновит детей. А пока что он не только помогал детям, но и утешал одинокого ребенка внутри себя.

Нюген Као Тран предпочитал, чтобы его называли Дьюк, как Джона Уэйна, чьи фильмы он любил. Тринадцатилетний Дьюк был младшим в семье беженцев, которым посчастливилось спастись от ужасов «мирного» Вьетнама, – яркий, сообразительный, настолько же пугающе проворный, насколько худой. Его отец, уцелевший в жестокой войне, в концентрационном лагере и во время двухнедельного плавания на хлипкой лодке в открытом море, погиб три года назад в солнечной южной Калифорнии, застреленный грабителями в магазине 7-Eleven, где работал ночным администратором; это была его вторая работа в Америке.

Отец Денни Улмса, двенадцатилетнего «младшего брата» Паркера, умер от рака. Более замкнутый, чем Дьюк, он стал его закадычным другом, а потому Доминик и Паркер часто совмещали свои выезды.

Паркер стал «старшим братом» нехотя, по настоянию Доминика. «Я? Я? Я не создан для того, чтобы быть отцом, родным или приемным, – сказал Паркер. – И никогда не буду ни тем ни другим. Я слишком много пью, слишком много распутничаю. Какие советы, кроме самых что ни на есть криминальных, могу я дать мальчишке? Я канительщик, эгоист, занят только собой. И я нравлюсь себе таким! Что, бога ради, я могу предложить парнишке? Я даже собак не люблю. Дети любят собак, а я их ненавижу. Грязные блохастые твари, черт их побери! Чтобы я стал „старшим братом“? Дружище, твои шарики куда-то укатились».

Но днем в четверг, на пляже, когда вода была слишком холодной для плавания, Паркер устроил волейбольный матч и гонки на берегу. Он заинтересовал Доминика и мальчиков сложной игрой собственного изобретения, для которой требовались две летающие тарелки, пляжный мячик и пустая банка из-под лимонада. Под его руководством они построили еще и замок из песка, куда поселили злобного дракона.

Потом был ранний обед в «Гамбургер-хамлет» в Коста-Меса. Когда ребята отлучились в туалет, Паркер сказал:

– Доминик, добрый мой друг, эта затея со «старшим братом» – лучшая из всех идей, что посещали меня.

– Посещали тебя? – Доминик покачал головой. – Да я тебя на аркане тащил, а ты лягался и кричал.

– Чепуха. Я всегда умел общаться с детьми. Каждый художник – ребенок в душе. Чтобы творить, надо оставаться молодым. Дети меня бодрят, не дают заржаветь мозгам.

– Скоро ты обзаведешься собакой, – сказал Доминик.

Паркер рассмеялся, допил пиво, подался вперед:

– Ты в порядке? Мне показалось, что временами ты был... рассеянным. Немного не в себе.

– Много всего в голове, – сказал Доминик. – Но я в порядке. Хождения во сне почти прекратились. И сновидения тоже. Коблец знает, что делает.

– Новая книга продвигается? Ты только мне мозги не засирай.

---

<sup>16</sup> «Старшие братья Америки» – общественная организация по оказанию помощи детям из неблагополучных семей.

– Продвигается, – соврал Доминик.

– Временами у тебя такое выражение... – Паркер внимательно глядел на него. – Будто ты накачался. Не увеличиваешь дозу, я надеюсь?

Прозорливость художника взволновала Доминика.

– Я был бы идиотом, если бы начал есть валиум, как конфеты. Конечно, я следую предписаниям.

Паркер просверлил его взглядом, но, судя по всему, решил не давить слишком сильно.

Фильм был хороший, но Доминик почему-то разнервничался. Через полчаса, почувствовав, что нервозность грозит перерасти в приступ тревоги, он поспешил в туалет. С собой у него была таблетка валиума – на всякий пожарный.

Но главное, он чувствовал себя победителем. Ему становилось лучше. Сомнамбулизм понемногу отпускал его. Правда-правда.

За сильным запахом дезинфектанта ощущалась едкая вонь мочи из писсуаров. Доминик ощутил, как тошнота подступает к горлу. Он проглотил валиум, ничем его не запив.

Той ночью, несмотря на таблетки, прежнее сновидение вернулось к Доминику. Он запомнил и другую часть, не только ту, где его совали головой в раковину.

Кошмар был таким: он лежал на кровати в неизвестной комнате, в воздухе которой, казалось, висел маслянистый темно-оранжевый туман. А может быть, этот янтарный туман существовал только в его сознании, потому что перед глазами все расплывалось. За кроватью виднелись контуры мебели, и в комнате присутствовали еще как минимум два человека. Но их формы были будто подернуты рябью, извивались, словно дело происходило в мире дыма и жидкости, где ни у чего нет четких очертаний.

Он чувствовал себя будто под водой, далеко от поверхности таинственного холодного моря. Атмосфера в пространстве сновидения давила сильнее, чем воздух. Ему едва удавалось дышать. Каждый вдох и выдох доставлял невыносимые мучения. Он чувствовал, что умирает.

Две нечеткие фигуры приблизились. Его состояние, казалось, беспокоило незнакомцев, которые взволнованно говорили друг с другом. Он знал, что говорят по-английски, но не понимал ни слова. Холодная рука прикоснулась к нему. Послышалось звяканье стекла. Где-то хлопнула дверь. Словно идущие подряд две сцены в фильме, сновидение переместилось в ванную или кухню. Кто-то вдавливал его лицом в раковину. Дышать стало еще труднее. Воздух превратился в гущу, которая с каждым вдохом залепляла ноздри. Он задыхался, пытался избавиться от густой каши воздуха, а те двое кричали на него, но, как и прежде, он не понимал, что они говорят, а они заталкивали его голову в раковину...

Доминик проснулся – он все еще был в кровати. На прошлой неделе, когда его выкинуло из сновидения, он обнаружил, что бродил во сне, а действие внутри кошмара разворачивалось над его собственной раковиной. На этот раз он с облегчением обнаружил, что лежит под одеялом.

Прогресс очевиден, подумал он.

Потом сел, дрожа, и включил свет.

Никаких баррикад. Никаких признаков сомнамбулической паники.

Он посмотрел на цифровые часы: 2:09 ночи. На ночном столике стояла полупустая банка пива. Он проглотил еще одну таблетку флуразепама.

Прогресс очевиден.

Была пятница, 13-е.

## 10

### *Округ Элко, Невада*

Вечером в пятницу, три дня спустя после случая на восьмидесятой трассе, Эрни Блок никак не мог уснуть. Темнота накрывала его, нервы натягивались все сильнее, и он наконец почувствовал, что сейчас закричит и будет не в силах остановиться.

Он выскользнул из кровати, стараясь делать это беззвучно, подождал, убеждаясь, что медленное и ровное дыхание Фей не изменилось, пошел в туалет, закрыл дверь и включил свет. Чудный свет. Он наслаждался светом. Опустив крышку на унитазе, он сел и просидел минут пятнадцать в нижнем белье, чтобы эта яркость как следует обожгла его, чувствуя себя таким же беспричинно счастливым, как ящерка, греющаяся на камне под солнцем.

Наконец он понял, что должен вернуться в спальню. Если Фей проснется, а он засидится здесь, жена начнет думать, не случилось ли чего. Он был исполнен решимости не делать ничего такого, что могло бы вызвать ее подозрения.

Хотя он не пользовался туалетом, но ради конспирации спустил воду и вымыл руки. Он уже смыл мыльную пену с рук и снял полотенце с крючка, когда его внимание привлекло единственное окно, которое располагалось над ванной – прямоугольник фута три в ширину и два в высоту – и открывалось вверх и наружу, подвешенное на рояльных петлях. Стекло с матовым покрытием не позволяло увидеть ночь, но, когда Эрни посмотрел на непрозрачную поверхность, по всему его телу прошла дрожь. Более тревожным, чем дрожь, стал поток особенных, взволнованных мыслей, нахлынувших на него: «Окно достаточно велико, чтобы вылезти наружу, я могу уйти, вырваться отсюда, а там, под окном, есть служебная пристройка, высота небольшая, я смогу слезть и спуститься в высохшее русло за мотелем, бежать в холмы, пробраться на восток, найти какое-нибудь ранчо, получить там помощь...»

Он неистово моргал. Поток мыслей затопил мозг, а потом схлынул, и Эрни обнаружил, что уже отошел от раковины, хотя и не помнил, как двигался.

Этот позыв к бегству ошеломил его. От кого бежать? От чего? Зачем? Здесь его дом. В этих стенах ему нечего бояться.

И все же он не мог оторвать взгляд от матового окна. Его охватила мечтательная сонливость. Он понимал это, но не мог от нее отделаться.

«Ты должен выбраться отсюда, бежать, другого шанса не будет. Сейчас, беги сейчас, беги, беги...»

Он бессознательно залез в ванну и теперь оказался прямо под окном, проделанным в стене на уровне головы. Фарфоровая поверхность ванны обжигала холодом подошвы.

«Сдвинь защелку, толкни окно вверх, встань на бортик ванны, подтянись к подоконнику, вылезай наружу и беги, у тебя есть три или четыре минуты форы, пока тебя не хватятся, не много, но достаточно...»

Беспричинная паника охватила его. Внутри у него все трепетало, в груди давило.

Не понимая, зачем он делает это, но будучи не в силах остановиться, он нажал на задвижку в нижней части окна. Толкнул раму вверх. Окно распахнулось.

Он был не один.

Что-то находилось по другую сторону окна, на крыше – что-то с темным бесформенным сияющим лицом. Эрни тут же отпрянул назад, но успел разглядеть человека в белом шлеме с закрывавшим все лицо забралом, затонированным так сильно, что казалось черным.

В окно просунулась рука в черной перчатке, так, словно пыталась схватить его. Эрни, вскрикнув, отступил назад, стал падать через край ванны, ухватился за занавеску, сорвал ее с нескольких колечек, но все же упал и громко стукнулся о пол ванной. Боль пронзила его правое бедро.

– Эрни! – воскликнула Фей и секунду спустя распахнула дверь. – Эрни, боже мой, что случилось?

– Не подходи. – Он поднялся, преодолевая боль. – Там кто-то есть.

Сквозь открытое окно задувал холодный ночной воздух, шурша наполовину сорванной, собранной в складки занавеской.

Фей пробрала дрожь – она спала в футболке и трусиках.

Эрни тоже пробрала дрожь, хотя не только по этой причине. Как только боль пронзила его бедро, сонливость ушла, мысли неожиданно прояснились, и он подумал: а не является ли фигура в шлеме игрой его воображения, галлюцинацией?

– На крыше? – спросила Фей. – У окна? Кто?

– Я не знаю, – сказал Эрни, потирая бедро, снова шагнул в ванну и посмотрел в окно. Но теперь не увидел никого.

– Как он выглядит? – спросила Фей.

– Не могу сказать. В мотоциклетном шлеме, в перчатках, – ответил Эрни, понимая, что говорит несуряцицу.

Он подтянулся к подоконнику, чтобы увидеть крышу подсобки. Кое-где было совсем темно, но спрятаться там человек не мог. Незванный гость ушел – если вообще существовал.

Эрни вдруг осознал, насколько обширна тьма за мотелем. Она лежала на холмах, уходила далеко в горы: огромная чернота, освещаемая только звездами. Его мгновенно переполнили предательская слабость и ощущение собственной уязвимости. Он охнул, сполз с подоконника в ванну, начал отворачиваться от окна.

– Закрой его, – сказала Фей.

Он плотно сжал веки, чтобы больше не видеть ночи, вновь повернулся к врывающимся внутрь струям холодного воздуха, вслепую нащупал окно, захлопнул с такой силой, что чуть не разбил, кое-как закрыл защелку трясущимися руками.

Выйдя из ванны, он, как и ожидал, увидел озабоченность в глазах Фей, удивление, которое тоже не стало для него неожиданным, – и пронзительную настороженность, к которой не был готов. Некоторое время оба молча смотрели друг на друга.

Наконец Фей заговорила:

– Ты готов рассказать мне об этом?

– Я уже сказал... мне привиделся человек на крыше.

– Я не об этом, Эрни. Я спрашиваю, готов ли ты сказать мне, что с тобой происходит, что тебя снедает? – Она не спускала с него глаз. – Вот уже месяца два, если не дольше.

Эрни был ошарашен. Он думал, что хорошо скрывает свой страх.

– Дорогой, тебя что-то мучает, – сказала она. – Мучает, как никогда раньше. И пугает.

– Нет. Не то чтобы пугает...

– Да, пугает. – Но в голосе Фей не прозвучало презрения – только свойственная айовцам прямота и желание помочь. – До этого я видела тебя испуганным только раз, Эрни. Когда Люси было пять лет и у нее случилась мышечная лихорадка, а врачи решили, что это атрофия мышц.

– Бог мой, да. Я так испугался – до полусмерти.

– Но после того случая – никогда.

– О, мне бывало страшно во Вьетнаме, – сказал он, и его признание эхом отдалось от стен ванной.

– Но я этого не видела. – Она обхватила себя руками. – Я никогда не видела тебя таким, Эрни, а потому, если ты испуган, испугана и я. Ничего не могу поделать. А еще больше я испугана оттого, что не знаю, в чем дело. Ты понимаешь? Быть в неведении – все равно что... это хуже любой тайны, которую ты можешь скрывать от меня.

В глазах у нее появились слезы, и Эрни сказал:

– Бога ради, не плачь. Все будет хорошо, Фей. Правда.

- Расскажи мне.
- Ладно.
- Сейчас. Всё.

Он, к своему прискорбию, недооценивал ее, а потому почувствовал себя полным тупицей. Она ведь была женой морпеха. И хорошей женой. Она была с ним в Куантико, в Сингапуре, в калифорнийском Пендлтоне, даже на Аляске – почти всюду, кроме Вьетнама, а потом Бейрута. Она создавала домашний очаг для них двоих везде с тех самых пор, как командование корпуса морской пехоты разрешило женам сопровождать мужей, переносила трудные времена с восхитительным хладнокровием, никогда не жаловалась, ни разу не подвела его. Она была нестигаемой. И как только он забыл об этом?

- Всё, – согласился Эрни, с облегчением поняв, что может разделить с ней свое бремя.

Фей приготовила кофе. Оба сидели за кухонным столом в халатах и тапочках, пока он рассказывал ей все. Фей видела, что он смущен. Эрни не спешил раскрывать подробности, и она прихлебывала кофе, проявляя терпение, давала ему шанс рассказать все так, как он считал нужным.

Эрни был чуть ли не лучшим мужем, какого может пожелать женщина, но время от времени фамильное упрямство Блоков давало о себе знать, и тогда Фей хотелось загрузить в его голову хоть толику здравого смысла. Все в семье Блоков страдало этой болезнью, особенно мужчины. Блоки всегда вели себя так, а не иначе, и лучше было не спрашивать почему. Мужчины в семействе Блоков любили, когда их майки были выглажены, а трусы – нет. Женщины в семействе Блоков всегда носили бюстгальтеры, даже дома, даже в летнюю жару. Блоки, и мужчины и женщины, всегда садились за ланч ровно в двенадцать тридцать, обедали ровно в шесть тридцать, и упаси господь, если еда оказывалась на столе с двухминутным опозданием: негодование могло привести к разрыву барабанных перепонок. Блоки ездили только на машинах «Дженерал моторс». Не потому, что они были лучше других, а потому, что Блоки всегда ездили только на машинах «Дженерал моторс».

Слава богу, Эрни и на одну десятую не был так плох, как его отец или братья. Ему хватало ума уехать из Питтсбурга, где клан Блоков обитал в одном и том же квартале на протяжении нескольких поколений. В реальном мире, вдали от царства Блоков, Эрни позволил себе отказаться от замшелых привычек. В морской пехоте он не мог рассчитывать, что еда будет подаваться ровно в то время, в какое требовал неписанный закон Блоков. Вскоре после свадьбы Фей ясно дала ему понять, что она готова устроить для него первоклассный домашний очаг, но не будет следовать бессмысленным традициям. Эрни приспособился, хотя это не всегда давалось ему легко, и стал черной овцой среди своей родни: среди его грехов числилось, например, вождение автомобилей, изготовленных другими компаниями.

Лишь на одну сферу жизни Эрни все еще распространял старую семейную традицию – на взаимоотношения мужа и жены. Он верил, что муж должен оберегать жену от неприятных вещей, для которых она слишком хрупка, считал, что жена не должна видеть его в минуты слабости. Эрни, казалось, не всегда понимал, что традиции Блоков остались в прошлом более четверти века назад.

Фей уже несколько месяцев чувствовала: с мужем случилось что-то серьезное. Но Эрни продолжал хранить свою тайну, из кожи вон лез, доказывая, что он – довольный жизнью отставной морпех, которому после военной службы посчастливилось найти себя в гостиничном бизнесе. Она видела, как непонятный огонь пожирает мужа изнутри, делала осторожные, терпеливые попытки заставить его открыться, но Эрни их не замечал.

За несколько недель, прошедших после возвращения Фей из Висконсина, куда она летала на День благодарения, ей стало очевидным нежелание, даже неспособность Эрни выходить из

дому с наступлением темноты. Казалось, он не чувствовал себя спокойно в комнате, если хотя бы одна из ламп оставалась выключенной.

Теперь они сидели на кухне за чашками горячего кофе, все жалюзи были плотно закрыты, а лампы включены. Фей внимательно слушала Эрни и лишь иногда вставляла слова поддержки и одобрения, побуждая его продолжить рассказ. Все проблемы, о которых он поведал, казались ей решаемыми. Ее настроение улучшилось, она почти уверовала, что теперь понимает, в чем суть происходящего и как помочь Эрни.

Он закончил тихим, тонким голосом:

– И что? Вот оно, вознаграждение за годы работы до седьмого пота и тщательного финансового планирования? Преждевременный старческий маразм? И теперь, когда мы заработали денег, можем жить и не тужить, у меня ум заходит за разум, я буду заговариваться, мочиться в штаны, стану бесполезным для себя самого и бременем для тебя? За двадцать лет до срока. Господи боже, Фей, я всегда понимал, что жизнь несправедлива, но никогда не думал, что мои карты лягут так плохо.

– Это изменится. – Она протянула руку над столом и прикоснулась к нему. – Да, Альцгеймер поражает людей даже моложе тебя. Я кое-что читала, наблюдала за своим отцом. Не думаю, что это преждевременный старческий маразм или вроде того. Мне кажется, это просто фобия. Фобия. У кого-то появляется иррациональный страх высоты или полета. У тебя развился страх темноты. Это можно преодолеть.

– Но фобии не появляются ни с того ни с сего, верно?

Они все еще держались за руки. Фей сжала его пальцы и сказала:

– Помнишь Хелен Дорфман? Почти двадцать четыре года назад. Наша домовладелица, когда ты получил первое назначение, в Кемп-Пендлтон.

– Да-да! Дом на Вайн-стрит, она жила в первом номере, первый этаж, со стороны фасада. А мы в шестом. – Эрни словно черпал силы в способности вспоминать эти мелочи. – У нее был кот... Сейбл. Помнишь, этот чертов котяра вдруг нас полюбил и стал оставлять нам подарочки на пороге?

– Дохлых мышек?

– Да. Рядом с утренней газетой и молоком. – Он рассмеялся, моргнул и сказал: – Слушай, я понимаю, что ты имеешь в виду, вспоминая Хелен Дорфман! Она боялась выходить из квартиры. Даже на собственный газон не могла выйти.

– У бедняжки была агорафобия, – сказала Фей. – Иррациональная боязнь открытого пространства. Она стала пленницей собственного дома, потому что за дверями ее переполнял страх. Доктора, помнится, называли это панической атакой.

– Паническая атака, – тихо проговорил Эрни. – Да, так оно и было.

– Агорафобия развилась у нее в тридцать пять лет, после смерти мужа. У людей в возрасте фобии могут возникать неожиданно.

– Черт побери, чем бы ни была эта фобия, откуда бы она ни взялась, думаю, это гораздо лучше маразма. Но боже мой, я не хочу проводить остаток жизни, боясь темноты.

– Тебе и не придется, – сказала Фей. – Двадцать четыре года назад никто не понимал, что такое фобия. Еще не было никаких исследований. Никаких эффективных способов лечения. Теперь – другое дело. Я в этом уверена.

Он помолчал несколько секунд.

– Я не сумасшедший, Фей.

– Я это знаю, дурачина ты здоровенный.

Эрни задумался над словом «фобия» и явно желал, чтобы Фей была права. Она увидела, как в его голубых глазах загорается надежда.

– Но это странное чувство, которое я испытал на федеральной трассе во вторник... – сказал он. – И галлюцинация, мотоциклист на крыше: я уверен, это была галлюцинация. Как все это согласуется с твоим объяснением? Как это может быть частью фобии?

– Не знаю. Но специалист сумеет все объяснить и связать воедино. Уверена, Эрни, все это не настолько необычно, каким кажется.

Он задумался на секунду, потом кивнул:

– Ладно. Но с чего мы начнем? Куда мне обратиться за помощью? Как мне победить эту чертовщину?

– Я уже решила, – сказала она. – В Элко нет ни одного доктора, который взялся бы за такой случай. Нам нужен специалист, каждый день работающий с пациентами, которые страдают всевозможными фобиями. Вероятно, в Рино их тоже нет. Придется ехать в город покрупнее. Думаю, Милуоки – достаточно большой город и там есть доктор, имеющий опыт в таких делах. А остановиться мы сможем у Люси и Фрэнка...

– А кроме того, будем каждый день видеть Фрэнка-младшего и Дори, – сказал Эрни, улыбаясь при мысли о внуках.

– Верно. Мы поедем туда на Рождество, на неделю раньше, чем планировали. В это воскресенье, а не в следующее. Приедем в Милуоки и найдем доктора. Если надо будет остаться после, я вернусь сюда, найму какую-нибудь пару на полное время, чтобы они вели дело, а потом присоединюсь к тебе. Мы все равно собирались пригласить кого-нибудь весной.

– Если закрыть мотель на неделю раньше, Сэнди и Нед понесут убытки.

– Дальнобойщики с федеральной трассы у Неда останутся, а если его доходы упадут, мы возместим ему потери.

Эрни покачал головой и улыбнулся:

– Ты все продумала. Ты просто чудо, Фей. Точно-точно. Чудеснее быть не может.

– Ну, должна признать, иногда я бываю ослепительна.

– Я каждый день благодарю бога за то, что нашел тебя, – сказал он.

– Я тоже ни о чем не жалею, Эрни, и уверена, что никогда не пожалею.

– Ты знаешь, я чувствую себя на тысячу процентов лучше, чем когда мы только начали разговор. Почему, черт меня побери, я так долго не обращался к тебе за помощью?

– Почему? Да потому, что ты – Блок, – сказала она.

Он усмехнулся и закончил старую шутку:

– От болвана всего один шаг.

Оба рассмеялись. Эрни снова схватил ее руку и поцеловал:

– Я впервые за много недель смеялся от всей души. Мы потрясающая команда, Фей. Когда мы вместе, нам ничто не страшно, правда?

– Правда, – согласилась она.

Была суббота, 14 декабря, близился рассвет, и Фей Блок не сомневалась: они решат нынешнюю проблему, как решали все проблемы раньше, действуя вместе, бок о бок.

И Фей, и Эрни уже забыли про непонятную поляроидную фотографию в простом конверте, которую получили в прошлый вторник.

## 11

### *Бостон, Массачусетс*

На отполированном до блеска туалетном столике лежал коврик замысловатой вязки, а на нем – черные перчатки и офтальмоскоп из нержавеющей стали.

Джинджер Вайс стояла у окна, слева от столика, и смотрела на серый залив, казавшийся зеркальным отражением пепельного декабрьского неба. Дальний берег был скрыт затяжным утренним туманом, который испускал жемчужное свечение. В конце участка, принадлежа-

щего Ханнаби, под каменистым склоном, в бурлящие воды залива вдавалась частная пристань, покрытая снегом, как и просторный газон, простирающийся до самого дома.

Большой дом возвели в 1850-е годы и несколько раз расширяли – в 1892, 1905 и 1950-м. Кирпичная подъездная дорожка под огромным портиком, широкие, высокие ступени, ведущие к массивной двери. Колонны, пилястры, резные гранитные архитравы над дверями и окнами, множество щипцов и округлых слуховых окон, выходящие на залив балконы второго этажа с тыльной стороны, большая огороженная площадка на крыше – все это производило величественное впечатление.

Даже для очень успешного хирурга дом, пожалуй, был слишком дорогим, но у Джорджа не было нужды покупать его. Он получил дом в наследство от отца, а тот – от деда Джорджа, который купил его в 1884 году. У него имелось даже название – «Бейвотч», – как у наследственных особняков в английских романах, и это больше всего впечатляло Джинджер. У домов в Бруклине, откуда она была родом, никаких названий не было.

В Мемориальном госпитале Джинджер никогда не испытывала ни малейшей неловкости, находясь рядом с Джорджем. Там он был авторитетным, уважаемым специалистом, но по происхождению, казалось, не отличался от остальных. Здесь же Джинджер осознала, что у Джорджа есть аристократическое наследственное владение, что он – другой. Он никогда не говорил о своей исключительности. Это было не в его духе. Но в комнатах и коридорах «Бейвотча» витал призрачный новоанглийский аристократизм, отчего Джинджер то и дело чувствовала себя неловко.

Угловые гостевые покои (спальня, альков для чтения, ванная), в которых Джинджер провела последние десять дней, были проще многих других в этом здании, здесь она чувствовала себя почти так же комфортно, как у себя дома. Большая часть дубового пола была покрыта узорчатым турецким ковром разных оттенков, от голубого до персикового. Стены были персикового цвета, потолок – белого. Кленовая мебель состояла из различных видов сундуков, используемых в качестве тумбочек, столов и комодов. Все это было снято с парусных судов девятнадцатого века, принадлежавших прадеду Джорджа.

Два кресла были обиты шелком персикового цвета от фирмы «Бруншви́г и сыновья». Лампы на прикроватных тумбочках, переделанные из подсвечников «баккара», напоминали о том, что под кажущейся простотой комнаты скрывается изящество.

Джинджер подошла к туалетному столику и устала на черные перчатки, лежавшие на салфетке. В который уже раз она надела их и стала сгибать пальцы – не вызовет ли это паники? Но это были обычные перчатки, купленные в тот день, когда ее выписали из больницы, не способные вогнать ее в дрожь или в состояние фуги. Наконец Джинджер сняла их.

В дверь постучали. Раздался голос Риты Ханнаби:

– Джинджер, дорогая, вы готовы?

– Иду, – сказала она, взяла свою сумочку с кровати и оглядела себя в зеркале.

На ней были лаймовый вязаный костюм и светло-кремовая блузка с простым бантом лаймового цвета на шее, зеленые – под цвет костюма – туфли-лодочки, сумочка из кожи угря в тон туфлям, золотой браслет с малахитом. Все это идеально подходило к ее цвету лица и серебристым волосам.

Но, выйдя в коридор и посмотрев на Риту Ханнаби, Джинджер почувствовала свою ущербность – все ее потуги были лишь жалкой претензией на высокий стиль.

Рита в свои пятьдесят восемь была такая же стройная, как Джинджер, но на шесть дюймов выше и выглядела по-королевски. У нее были темно-каштановые волосы, зачесанные назад и аккуратно подстриженные перьями. Будь ее скулы тоньше, они придавали бы ей суровый вид. Но светящиеся серые глаза, прозрачная кожа и крупный рот делали ее красоту теплой. На Рите был серый костюм St. John, жемчужные бусы, сережки тоже из жемчуга и черная широкополая шляпа. Для Джинджер самым удивительным было то, что элегантность Риты не каза-

лась запланированной. Не возникало ощущения, будто она потратила на свой туалет много времени. Казалось, она родилась такой – безупречно ухоженной и модно одетой, элегантность была ее естественным состоянием.

– Вы выглядите потрясающе! – сказала Рита.

– Рядом с вами я чувствую себя старомодной, в синих джинсах и свитере, – ответила Джинджер.

– Чепуха. Даже если бы я была на двадцать лет моложе, то и тогда не сравнилась бы с вами. Давайте посмотрим, перед кем официант будет больше прогибаться за ланчем.

Джинджер не страдала ложной скромностью и знала, что привлекательна. Но ее красота была скорее ангельской, тогда как у Риты была столь внушительная аристократическая внешность, что она могла бы воссесть на троне, и никто бы не усомнился в том, что это ее законное место.

Рита никоим образом не желала усиливать комплекс неполноценности, недавно появившийся у Джинджер. Она обращалась с ней не как с дочерью, а как с сестрой. Она знала, что чувство собственной неадекватности стало прямым следствием плачевного состояния девушки. Еще две недели назад Джинджер была человеком, который много лет ни от кого не зависел. Теперь она снова стала зависимой, не могла в полной мере отвечать за себя, а ее самоуважение ослабевало с каждым днем. Здорового юмора Риты Ханнаби, тщательно спланированных выездов, женских разговоров, постоянного подбадривания не хватало, чтобы отвлечь Джинджер от жестокой правды: судьба вновь сделала ее, тридцатилетнюю, беззащитным ребенком.

Они вместе спустились в прихожую с мраморным полом, надели пальто, висевшие в гардеробной, и сошли по ступенькам портика к черному «Мерседесу-500» на подъездной дорожке. Герберт, дворецкий и преданный слуга одновременно, подогнал машину минут пять назад и оставил с включенным двигателем: было приятно в холодный зимний день оказаться в теплом убежище. Рита, как обычно уверенно, вела машину. Оставив позади район старинных особняков и тихих улиц, обсаженных прекрасными вязами и кленами, через все более оживленные магистрали они ехали в офис доктора Эммануэля Гудхаузена на шумной Стейт-стрит.

Доктор, которого Джинджер на прошлой неделе посетила дважды, ждал ее в одиннадцать тридцать. К нему надо было являться в понедельник, среду и пятницу – столько недель, сколько понадобится для выявления причины приступов. В самые тяжелые минуты Джинджер прониклась уверенностью, что она и через тридцать лет будет лежать на кушетке в кабинете Гудхаузена.

Рита хотела сделать кое-какие покупки, пока Джинджер будет с доктором. На ланч они пойдут в какой-нибудь изысканный ресторан, где сама обстановка подчеркивала бы достоинства Риты Ханнаби, а Джинджер снова почувствовала бы себя школьницей, пытающейся казаться взрослой.

– Вы подумали о том, что я предлагала в прошлую пятницу? – спросила Рита, ведя машину. – Поработать от имени «Женщин-волонтеров» в больнице.

– Вряд ли у меня получится. Я буду чувствовать себя неловко.

– Это важная работа.

Рита умело свернула в соседний ряд, где было свободное место, перед ними плелся фургон газеты «Бостон глоуб».

– Конечно важная. Я знаю, сколько денег вы собрали для больницы, сколько нового оборудования купили... но я думаю, что пока должна держаться подальше от Мемориального госпиталя. Мне будет тяжело – всё вокруг будет напоминать, что я не гожусь для работы, к которой готовилась столько лет.

– Понимаю, дорогая. Забудьте об этом. Но есть еще Симфонический комитет, Женская лига по уходу за пожилыми, Комитет защиты детей. И везде нужна помощь.

Рита без устали занималась благотворительностью, председательствовала или служила в различных комитетах. Она не только организовывала благотворительные общества, но и не боялась испачкать руки повседневной работой.

– Так как? – продолжила она. – Уверена, вам будет особенно приятно поработать с детьми.

– Рита, а если приступ случится, когда вокруг меня будут дети? Они испугаются, и я...

– О, чушь собачья, – сказала Рита. – Я вывожу вас из дому вот уже две недели, и каждый раз вы прибегаете к одному и тому же предлогу, не желая покинуть свою комнату. «Ах, Рита! – говорите вы. – У меня случится один из этих ужасных приступов, я поставлю вас в неловкое положение». Но никаких приступов с вами не случилось. А если и случится, меня это не смутит. Я не из тех, кого легко смутить.

– Я никогда и не думала, что вы нежная фиалка. Но вы не видели меня в состоянии фуги. Вы не знаете, как я веду себя...

– Господи, вы говорите так, будто вы настоящий доктор Джекил и мистер Хайд – или мисс Хайд, – а я уверена, что это не так. Вы никого не избили до смерти тростью. Или избили, мисс Хайд?

Джинджер рассмеялась и отрицательно покачала головой:

– Вы просто удивительная, Рита.

– Отлично. Вы очень нам поможете.

Хотя Рита, вероятно, не рассматривала Джинджер как объект благотворительной деятельности, она подходила к ее выздоровлению и реабилитации как к новому вызову. Засучив рукава, она занялась выводом Джинджер из кризиса, и ничто на свете не могло ее остановить. Джинджер была тронута Ритиной теплотой и огорчена тем, что сама так нуждается в заботе.

Они остановились под светофором. Перед ними стояли еще две машины. Повсюду были легковушки, пикапы, автобусы, такси, фургоны доставки. В «мерседес» проникала, хотя и в приглушенном виде, городская какофония, и, когда Джинджер посмотрела в окно, услышав особенно громкий рев двигателя, она увидела большой мотоцикл. В этот момент мотоциклист повернулся в ее сторону, но лица его не было видно: тонированное забрало шлема доходило до самого подбородка.

Впервые за десять дней Джинджер окутал туман беспамятства. На этот раз все случилось гораздо быстрее, чем при виде черных перчаток, офтальмоскопа или сливного отверстия. Она смотрела в пустой блестящий визор, сердце ее замерло, дыхание перехватило, и она мгновенно была сметена огромной волной ужаса. Джинджер исчезла.

Сначала Джинджер слышала гудение вокруг себя. Гудение легковушек, гудение автобусов, грузовиков. Некоторые гудки напоминали визг животных, другие звучали низко и зловеще. Вой, уханье, лай, визг, бибиканье, бляение.

Джинджер открыла глаза. Взгляд понемногу сфокусировался. Она по-прежнему находилась в машине. Перекресток по-прежнему был впереди. Но прошло несколько минут: стоявшие перед ними машины исчезли. Двигатель работал, но рычаг перевели в нейтральное положение, «мерседес» переместился футов на десять к пешеходной дорожке и занял часть соседней полосы, что и вызвало гневное гудение: другие водители пытались их объехать.

Джинджер слышала собственное хныканье.

Перегнувшись через консоль, которая разделяла места водителя и пассажира, Рита Ханнаби крепко прижимала к сиденью запястья Джинджер:

– Джинджер? Вы здесь? Как вы? Джинджер?

Кровь. Это было следующим, что осознала Джинджер, – после оглушительного гудения и голоса Риты. Красные пятна на лаймовой юбке. Темное пятно на рукаве жакета. Ее руки, как и Ритины, окрасила кровь.

– Боже мой... – сказала Джинджер.

– Джинджер, вы со мной? Вы вернулись? Джинджер? Ответьте мне.

Один из маникюренных ногтей Риты был обломан, торчало только неровное основание, а обе руки, похоже, были раздроблены. Царапины на пальцах, тыльной стороне ладоней и ладонях кровоточили, и, судя по всему, то была кровь Риты, а не Джинджер. Манжеты на рукавах Ритиногo костюма покраснели от крови.

Клаксоны продолжали гудеть.

Джинджер подняла голову и увидела, что идеальная прическа Риты превратилась черт знает во что. На левой щеке виднелась царапина длиной в два дюйма, на подбородок стекала кровь, смешанная с косметикой.

– Вы вернулись. – Рита с явным облегчением отпустила руки Джинджер.

– Что я сделала?

– Только царапины, – сказала Рита. – Ничего страшного. У вас случился приступ паники, вы пытались убежать. Нельзя было вас отпускать. Вы могли угодить под машину.

Проезжающий мимо водитель, оглябая «мерседес», сердито прокричал что-то неразборчивое.

– Я расцарапала вас, – сказала Джинджер. Ей стало дурно при мысли о совершенном ею насилии.

Другие водители гудели, их терпение лопалось, но Рита не обращала на них внимания. Она снова взяла Джинджер за руки, но теперь уже не удерживала ее, а утешала, успокаивала:

– Все в порядке, дорогая. Все прошло. Немного йода, и на мне не останется никаких следов.

Мотоциклист. Темное забрало.

Джинджер посмотрела в окно. Мотоциклист исчез.

Он ведь не представлял для нее угрозы – незнакомый человек, проезжавший мимо.

Черные перчатки, офтальмоскоп, сливное отверстие, а теперь еще темное забрало мотоциклетного шлема. Почему именно эти вещи выбивали ее из колеи? Что у них было общего – если было?

Слезы потекли по ее лицу.

– Простите меня, – сказала Джинджер.

– Не надо извиняться. А теперь дадим им проехать.

Рита вытащила из бардачка салфетки, чтобы не запачкать окровавленными руками руль и рычаг переключателя.

Ощущая влагу на своих руках – кровь Риты, – Джинджер откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза, пытаясь сдержать слезы. Но не сумела.

Четыре психотических эпизода за пять недель.

Она больше не могла беззаботно проживать, один за другим, серые зимние дни, беззащитная, покорно принимающая этот ужасный поворот судьбы, не могла просто ждать следующей атаки или приговора психиатра, который объяснит, что с ней не так.

Был понедельник, 16 декабря, и Джинджер неожиданно приняла решение: сделать что-нибудь, прежде чем fuga случится в пятый раз. Она даже представить себе не могла, что нужно делать, но не сомневалась: все прояснится, если заставить мозг работать и перестать себя жалеть. Сегодня она достигла дна. Нельзя вообразить большего унижения, страха и отчаяния. У нее не осталось другого пути – только вверх. Она выкарабкается обратно на поверхность, будь она проклята, если не выкарабкается вверх, к свету, прочь из той тьмы, в которую упала.

## Глава 3

### Канун Рождества – Рождество

#### 1

#### *Лагуна-Бич, Калифорния*

В восемь утра, во вторник, 24 декабря, Доминик Корвейсис встал с постели и проделал утренние процедуры, пребывая как бы в тумане, – сказывалось вчерашнее злоупотребление валиумом и флуразепамом.

Одиннадцать ночей подряд его не беспокоили ни сомнамбулизм, ни сновидения с раковой. Медикаментозный курс действовал, и Доминик был готов выносить фармацевтический дурман, лишь бы положить конец обескураживающим ночным хождениям.

Он не верил, что есть опасность впасть в физическую или даже психологическую зависимость от валиума и флуразепама. Предписанную дозу он превысил, но это пока не беспокоило его. Таблетки почти закончились, и, чтобы получить еще один рецепт у доктора Коблеца, он придумал историю об ограблении: из дома якобы пропали таблетки вместе с телевизором и стереосистемой. Доминик солгал, чтобы получить новую порцию лекарства, и порой отчетливо понимал, что повел себя недостойно. Но, пребывая большую часть времени в мягкой дымке, которая сопутствовала непрерывному приему таблеток, он легко поддавался самообману, скрывавшему постыдную правду.

Он не отваживался думать о том, что случится с ним, если сомнамбулизм вернется в январе, когда он перестанет принимать лекарство.

Неспособный как следует сосредоточиться на работе, в десять часов он надел вельветовый пиджак и вышел из дому. В это утро, в конце декабря, было прохладно. Не считая редких теплых – не по сезону – дней, пляжи были обречены пустовать до апреля.

Спустившись на своем «файрберде» к центру города, Доминик заметил, что Лагуна под мрачным, серым небом выглядит безрадостно. Он не знал, в какой мере эта свинцовая хмурица реальна, а в какой – порождена отупляющими лекарствами, но быстро выкинул из головы тревожные мысли. Сознывая, что в таком сумеречном состоянии реакция будет замедленной, он ехал с удвоенной осторожностью.

Большую часть писем Доминик получал на почте, арендуя большой ящик, поскольку выписывал много всего. В этот предрождественский день ящик был заполнен более чем наполовину. Он не стал просматривать обратные адреса и унес все в машину, собираясь прочесть почту за завтраком.

Ресторан «Коттедж», популярный у публики вот уже несколько десятилетий, располагался к востоку от Тихоокеанского шоссе, на склоне холма. Утренний час пик уже прошел, а время ланча еще не наступило. Доминика усадили за столик у окна, из которого открывался прекрасный вид. Он заказал два яйца, бекон, жареную картошку и грейпфрутовый сок.

За едой он просматривал почту. Кроме журналов и счетов, пришло письмо от Леннарта Сейна, замечательного шведского литагента, который распорядился правами на перевод в Скандинавии и Голландии, а еще – пухлый конверт из «Рэндом-хауса». Увидев адрес издателя, Доминик понял, что лежит внутри. Сознание начало наконец проясняться, возбуждение отчасти рассеяло туман. Он оставил тост, разорвал большой конверт, достал сигнальный экземпляр своего первого романа. Ни один мужчина не знает, что чувствует женщина, в первый раз беря на руки своего ребенка, но романист, держащий в руках первый экземпляр своей первой

книги, радуется почти как мать, которая впервые смотрит в лицо своего малыша, ощущая через пеленки его тепло.

Доминик положил книгу рядом с тарелкой и долго не мог оторвать от нее глаз. Покончив с едой и заказав кофе, он решил, что уже нагляделся на «Сумерки», и принялся просматривать остальную почту. Среди прочего он увидел простой белый конверт без обратного адреса, с листком белой бумаги внутри. Всего два предложения, напечатанные на машинке и ошеломившие его:

«Лунатику стоило бы поискать источник его проблем в прошлом. Вот где скрыта тайна».

Удивленный Доминик перечитал послание. Лист бумаги шуршал в его руке. По телу прошла дрожь. Похолодело в затылке.

## 2

### *Бостон, Массачусетс*

Выйдя из такси, Джинджер оказалась перед шестиэтажным кирпичным зданием в викторианском готическом стиле. Порывистый ветер хлестал ее, голые ветки деревьев на Нью-бери-стрит шуршали, постукивали, пощелкивали – словно кости в мешке. Втянув голову в плечи, она быстро прошла мимо низкой металлической решетки и вошла в дом номер 127, бывший отель «Агассиз» – одно из лучших старинных зданий города, где теперь устроили кондоминиумы. Она пришла встретиться с Пабло Джексон, о котором знала только то, что прочла во вчерашнем номере «Бостон глоуб».

Боясь, что ей помешают, она покинула «Бейвотч» только после того, как Джордж уехал в больницу, а Рита отправилась покупать что-то для рождественского праздника. Горничная Лавиния умоляла гостью не уезжать одной. Джинджер оставила записку, сообщив, куда едет, и выразив надежду, что хозяева не будут слишком расстроены.

Когда Пабло Джексон открыл дверь, Джинджер удивилась. Не его возрасту (около восьмидесяти) и не тому, что он чернокожий, – это она узнала из статьи в «Глоуб». Она не ожидала увидеть такого живого, энергичного восьмидесятилетнего мужчину, у которого, несмотря на возраст, не искривились ноги, не согнулась спина, не ссутулились плечи. Среднего роста (пять футов восемь дюймов), худощавый Пабло Джексон стоял перед ней, по-военному стройный, в белой рубашке и отглаженных, со стрелочкой, черных брюках. Улыбка и движение руки, приглашавшее гостью войти, говорили о бодрости и молодости. Густые курчавые волосы ничуть не поредели, лишь поседели и, казалось, сверкали в призрачном свете, придавая хозяину причудливо-мистический вид. Он провел Джинджер в гостиную, шагая с живостью человека, лет на сорок-пятьдесят моложе его.

Гостиная тоже удивила Джинджер: она не ожидала найти такое в почтенном старинном здании, где обитает пожилой холостяк. Стены были кремовыми, диван и стулья – современными, все с одинаковой обивкой. Ковер от Эдварда Филдса, такого же кремового оттенка, как и стены, с объемным рисунком в виде волн. Были и другие цветные пятна: желтые, персиковые, зеленые, голубые подушки на диванах, две большие картины маслом, одна – кисти Пикассо. Все это создавало воздушную, яркую, теплую и современную атмосферу.

Джинджер устроилась в одном из двух стоявших лицом друг к другу кресел, разделенных маленьким столиком, у большого эркерного окна. От кофе она отказалась.

– Мистер Джексон, мне страшно признаться в этом, но я пришла к вам под выдуманным предлогом, – сказала она.

– Какое интересное начало! – Он с улыбкой закинул ногу на ногу и положил черные кисти с длинными пальцами на подлокотники кресла.

– Нет-нет, я не репортер.

– Не из газеты? – Он задумчиво разглядывал ее. – Что ж, ничего страшного. Я знал, что вы не репортер, когда впускал вас. Нынешние репортеры какие-то приглашенные и еще очень самоуверенные. Как только я увидел вас в дверях, я сказал себе: «Пабло, эта маленькая девочка – не репортер. Она настоящая».

– Мне нужна помощь, которую можете оказать только вы.

– Барышня попала в беду, – весело сказал Джексон.

Он вовсе не казался сердитым или встревоженным, чего Джинджер опасалась.

– Я боялась, что вы не примете меня, если я сообщу вам об истинной причине. Понимаете, я врач, хирург-ординатор в Мемориальном госпитале, и когда я прочла статью о вас в «Глоуб», то подумала, что вы можете мне помочь.

– Я был бы рад вас видеть, даже если бы вы продавали журналы. Восемидесятилетний старик не должен отказывать никому... если не предпочитает проводить дни, разговаривая со стенами.

Джинджер видела, что Джексон старается создать для нее успокаивающую атмосферу, и оценила его усилия, хотя подозревала, что его светская жизнь намного интереснее ее собственной.

– И потом, даже такое закаменелое ископаемое, как я, не отказало бы в приеме такой милой девушке, как вы. Но скажите, чем я могу вам помочь?

Джинджер подалась вперед на своем кресле:

– Сначала я хочу узнать, верно ли написали о вас в «Глоуб».

Он пожал плечами:

– Настолько, насколько верно пишут в газетах. Да, действительно, мои мать и отец были американскими гражданами, жившими во Франции. Мать была известной певицей, выступала в парижских кафе до и после Первой мировой. Отец был музыкантом, как и сказано в «Глоуб». Правда и то, что мои родители были знакомы с Пикассо и рано поняли, что он гений. Меня назвали в его честь. Они купили два десятка картин Пикассо, когда его работы еще не ценились, и он подарил им еще несколько холстов. У них был *bon goût*<sup>17</sup>. Не сотня картин, как написано в газете, только полсотни, но и это немало. Они понемногу продавали картины. Коллекция очень помогла им на пенсии, а потом и мне.

– Вы были успешным иллюзионистом?

– На протяжении более полувека, – сказал он, подняв обе руки в изящном и грациозном движении, словно удивлялся собственному долголетию. После этого жеста истинного фокусника, ритмичного и плавного, Джинджер не удивилась бы, если бы он выдернул из воздуха живых белых голубей. – И я был знаменит. *Sans pareil*<sup>18</sup>, если позволите так выразиться. Здесь я, конечно, не настолько известен, как в Европе.

– И вы гипнотизировали зрителей?

Он кивнул:

– Это было гвоздем программы. И всегда завораживало публику.

– А теперь вы помогаете полиции, гипнотизируя свидетелей преступления, чтобы они могли вспомнить забытые подробности.

– Эта работа не отнимает все мое время, – сказал он, помахав тонкой рукой, как бы в знак отрицания, на случай если такие мысли возникли у Джинджер. Казалось, все должно закончиться волшебным появлением букета цветов или колоды карт. – По правде говоря, ко мне обращались четыре раза за последние два года. Обычно я – их последняя надежда.

– И это им помогало?

---

<sup>17</sup> Хороший вкус (*фр.*).

<sup>18</sup> Не имел равных (*фр.*).

– О да. Как и сказано в газете. Например, прохожий мог видеть убийство и мельком заметить машину, в которой скрылся убийца, но никак не вспомнит номера. Но если номер хотя бы на долю секунды промелькнул перед ним, цифры сидят глубоко в подсознании, ведь мы не забываем ничего из увиденного. Никогда. И вот гипнотизер вводит такого свидетеля в транс, вызывает у него регрессию – иными словами, возвращает к сцене стрельбы, просит свидетеля обратить внимание на машину. И мы получаем номер.

– Всегда?

– Не всегда. Но выигрываем чаще, чем проигрываем.

– А почему они обращаются к вам? Разве в полицейском департаменте нет психиатров, владеющих гипнозом?

– Конечно есть. Но психиатры – не гипнотизеры. Они не специализируются на этом. Я всю жизнь проводил исследования, разрабатывал собственные методики, часто дающие результат там, где обычные техники бессильны.

– Значит, вы спец по гипнозу.

– Верно. Даже спец среди спецов. Но почему вас это интересует, доктор?

Джинджер сидела, положив руки на сумочку, которая покоилась на ее коленях. По мере того как она рассказывала Пабло Джексону о своих приступах, ее пальцы сжимали сумочку все сильнее и сильнее, пока не побелели костяшки.

Непринужденные манеры Джексона сменились острым интересом, возмущением и озабоченностью.

– Бедное дитя! Бедная, бедная девочка! De mal en pis – en pis! От плохого к худшему и к еще худшему! Как это ужасно. Подождите здесь. Не шевелитесь.

Он вскочил с кресла и поспешил прочь из комнаты.

Вернулся он с двумя стаканами бренди. Джинджер поначалу отказалась:

– Нет, спасибо, мистер Джексон. Я почти не пью. И уж конечно, не в такой ранний час.

– Зовите меня Пабло. Сколько вы спали сегодня ночью? Совсем немного? Вы не ложились почти всю ночь, проснулись уже давно, для вас это не утро, а середина дня. Почему бы не выпить в середине дня, а?

Он вернулся в свое кресло. Несколько секунд оба молчали.

Потом Джинджер сказала:

– Пабло, я хочу, чтобы вы загипнотизировали меня, вернули меня в то утро двенадцатого ноября, в кулинаруию Бернстайна. Я хочу, чтобы вы задержали меня в этом промежутке времени и безжалостно допросили, пока я не объясню, почему вид тех черных перчаток привел меня в такой ужас.

– Невозможно! – он отрицательно покачал головой. – Нет-нет.

– Я могу заплатить, сколько...

– Дело не в деньгах. Деньги мне не нужны. – Он нахмурился. – Я иллюзионист, а не врач.

– Я уже была у психиатра, говорила об этом, но он отказался.

– Вероятно, у него были свои резоны.

– Он считает, что для гипнотической регрессии пока еще рано. Он признает, что такая терапия может указать на причину моей паники, но говорит, что есть риск допустить ошибку: я еще не готова посмотреть правде в лицо. Говорит, что если я раньше времени столкнусь с источником моих тревог – это может привести к... нервному срыву.

– Видите? Он знает лучше. Я влезу не в свое дело, вот и все.

– Ничего он не знает! – настаивала Джинджер, взбешенная воспоминанием о недавнем разговоре с психиатром: его снисходительный тон привел ее в бешенство. – Или знает про других пациентов, но не про меня. Я не могу больше так жить. Гудхаузен решится на гипноз, может быть, через год, но я уже сойду с ума и не получу от регрессии никакой пользы. Я должна взять эту проблему за горло, взять ее под контроль, сделать что-то.

– Но вы, конечно, понимаете, что я не могу брать на себя ответственность...

– Пойдите! – оборвала она его, отставляя стакан. – Я так и знала, что вы не захотите. –

Она открыла сумочку, вытащила сложенный лист бумаги и протянула иллюзионисту. – Вот. Пожалуйста, возьмите.

Он взял бумагу. Пабло был на полвека старше ее, но его руки тряслись куда меньше.

– Что это?

– Подписанное освобождение от ответственности, свидетельствующее, что я пришла сюда в отчаянии. Эта бумага заранее оправдывает вас, на случай если что-то пойдет не так.

Он не стал читать:

– Вы не понимаете, дорогая леди. Меня не пугает судебное преследование. С учетом моего возраста и черепашной скорости судов я не доживу до приговора. Но мозг – деликатный механизм, и если что-то пойдет не так, если я приведу вас к срыву, то я наверняка буду гореть в аду.

– Если вы мне не поможете, если мне придется лечиться много месяцев и потерять уверенность в будущем, срыв все равно произойдет. – Джинджер повысила голос, изливая все свое разочарование и ярость. – Если вы отошлете меня, оставите на милость друзей, исполненных благих намерений, отдадите Гудхаузену, то мне конец. Клянусь вам, для меня это конец. Я так больше не могу! Если вы мне откажете, то все равно понесете ответственность за мой срыв, потому что могли его предотвратить.

– Простите меня, – сказал он.

– Пожалуйста!

– Я не могу.

– Вы бесчувственный черный мерзавец, – сказала Джинджер, испугавшись своих слов еще до того, как произнесла их. Его добродушное маленькое лицо скривилось от обиды. Джинджер почувствовала себя уязвленной и пристыженной. – Простите. Простите меня.

Она поднесла руки к лицу, сложила пополам в своем кресле и заплакала.

Джексон подошел к ней:

– Доктор Вайс, пожалуйста, не плачьте. Не впадайте в отчаяние. Все будет хорошо.

– Нет. Никогда не будет, – сказала она. – Как было, уже никогда не будет.

Он нежно оторвал ладони Джинджер от лица, дотронулся пальцем до ее подбородка, приподнял голову девушки так, чтобы она смотрела на него. Потом улыбнулся, подмигнул, показал ей пустую руку, а потом, к ее удивлению, вытащил монетку в четверть доллара из ее правого уха.

– Успокойтесь. – Пабло Джексон похлопал ее по плечу. – Вы объяснились. У меня определенно не *âme de bove*, не душа из грязи. Слезы женщины могут тронуть мир. Думаю, это неправильно, но я сделаю, что смогу.

Джинджер не перестала рыдать, напротив, предложение помощи вызвало новый поток слез. Но теперь это были слезы благодарности.

– ...Вы погрузились в глубокий сон, глубокий, очень глубокий, совершенно расслаблены и будете отвечать на все мои вопросы. Вам ясно?

– Да.

– Вы не можете отказать мне в ответе. Не можете отказать. Не можете.

Пабло уже затянул шторы на трехсекционном эркерном окне и выключил весь свет, кроме лампы рядом с креслом Джинджер Вайс. Янтарные лучи падали на нее, делая волосы похожими на золотые нити и подчеркивая неестественную бледность кожи.

Он встал перед Джинджер и взгляделся в ее лицо. В ней была хрупкая красота, изящная женственность, но еще и громадная сила, почти мужская: *le juste milieu* – золотая середина, идеальный баланс, характер и красота не уступали друг другу.

Глаза девушки были закрыты и чуть-чуть двигались под веками, что указывало на глубокое погружение в транс.

Пабло вернулся в кресло, стоявшее в тени, за границей янтарного света из единственной горящей лампы, сел, закинул ногу на ногу.

– Джинджер, почему вас испугали черные перчатки?

– Не знаю, – тихо ответила она.

– Вы мне не можете лгать. Вы понимаете? Вы ничего не можете утаивать от меня. Почему вы испугались черных перчаток?

– Не знаю.

– Почему вы испугались офтальмоскопа?

– Не знаю.

– Почему вы испугались слива?

– Не знаю.

– Вы знали человека на мотоцикле на Стейт-стрит?

– Нет.

– Тогда почему испугались его?

– Не знаю.

Пабло вздохнул:

– Хорошо. Джинджер, теперь мы сделаем кое-что удивительное. Наверное, это покажется невозможным, но я уверяю вас: оно возможно. Мы заставим время двигаться в обратном направлении, Джинджер. Ничего особенного. Вы отправитесь назад во времени, медленно, но неотвратно. Станете моложе. Это уже происходит. Вы не можете противиться этому... время похоже на реку... которая течет назад... всегда назад... сегодня уже не двадцать четвертое декабря. Сегодня двадцать третье декабря, понедельник, а часы продолжают идти обратно... теперь чуть быстрее... уже двадцать второе... уже двадцатое... восемнадцатое... – Так он привел Джинджер в двенадцатое ноября. – Вы находитесь в кулинарии Бернштейна, ждете, когда выполнят ваш заказ. Чувствуете аромат выпечки, запах приправ?

Джинджер кивнула, и Пабло спросил:

– Скажите, какие запахи вы чувствуете?

Она сделала глубокий вдох, на лице появилось удовлетворенное выражение. Голос стал оживленнее:

– Пастрами, чеснок... медовое печенье... гвоздика и корица... – Сидя в кресле с закрытыми глазами, она подняла голову, повернула ее направо и налево, словно оглядывала магазин. – Шоколад. Бисквитный торт с шоколадом!

– Замечательно, – сказал Пабло. – И вот вы расплачиваетесь за ваш заказ, отворачиваетесь от прилавка... лицом к двери, вы заняты своей сумочкой.

– Никак не могу засунуть в нее бумажник, – сердито сказала она.

– В одной руке у вас пакет с продуктами.

– Ношу в этой сумочке черт знает что.

– Бах! Вы сталкиваетесь с человеком в шапке-ушанке.

Джинджер охнула и дернулась от удивления.

– Он подхватывает пакет, чтобы тот не упал, – продолжил Пабло.

– Ой! – сказала она.

– Он извиняется.

– Моя вина, – сказала Джинджер. Пабло знал, что она говорит не с ним, а обращается к мужчине с одутловатым лицом в шапке-ушанке, в данный момент не менее реальному для нее, чем в тот вторник в кулинарии. – Я не смотрела, куда иду.

– Он протягивает вам пакет, который вы берете. – Пожилой волшебник внимательно наблюдал за ней. – И тут вы замечаете... его перчатки.

Перемена, произошедшая с Джинджер, была мгновенной и шокирующей. Она села прямо, ее глаза открылись.

– Перчатки! О боже, перчатки!

– Расскажите мне про эти перчатки, Джинджер.

– Черные, – сказала она тонким дрожащим голосом. – Блестящие.

– Что еще?

– Нет! – вскрикнула она, вставая со стула.

– Сядьте, пожалуйста! – велел Пабло. Она замерла, приподнявшись лишь наполовину. – Джинджер, я приказываю вам сесть и расслабиться.

Ее потерявшее гибкость тело опустилось в кресло. Лучезарные голубые глаза были широко открыты, но устремлены не на Пабло, а на перчатки в ее воспоминаниях. Судя по виду Джинджер, малейшего толчка было достаточно, чтобы она снова бросилась наутек.

– Теперь вы расслабитесь. Вы будете спокойны... спокойны... очень спокойны. Вы понимаете?

– Да. Хорошо, – сказала она.

Дыхание замедлилось, плечи слегка опустились, но она все еще оставалась в напряжении.

Обычно, вводя человека в транс, Пабло сохранял полный контроль над ним – тот сразу откликался на его действия. Сейчас он был удивлен и почувствовал тревогу из-за напряжения Джинджер, не исчезавшего, несмотря на его призывы, но успокаивать ее и дальше он не мог. Наконец он сказал:

– Расскажите мне о перчатках, Джинджер.

– О мой бог!

Страх исказил ее лицо.

– Расслабьтесь и расскажите мне о перчатках. Почему вы их боитесь?

Ее затрясло.

– Н-н-не поз-з-звольте им прик-к-касаться ко мне.

– Почему вы боитесь их? – настаивал он.

Она обхватила себя руками и втиснулась в кресло еще глубже.

– Послушайте меня, Джинджер. Это мгновение заморожено во времени. Часы не идут ни назад, ни вперед. Перчатки к вам не прикоснутся. Я этого никогда не позволю. Время остановилось. Я наделен властью останавливать время, и я его остановил. Вы в безопасности. Вы меня слышите?

– Да, – сказала она, но при этом съежилась и прижалась к спинке кресла, в ее голосе слышались сомнение и почти неприкрытый ужас.

– Вы в полной безопасности. – Пабло угнетал вид этой милой девушки, настолько подавленной страхом. – Время остановилось, вы можете разглядывать эти черные перчатки, не опасаясь, что они схватят вас. Сейчас вы их рассмотрите и скажете мне, почему они вас пугают.

Она молчала, дрожа.

– Вы должны ответить мне, Джинджер. Почему вы боитесь перчаток? – В ответ она только заскулила. Пабло задумался на мгновение, потом спросил: – Неужели вас пугает именно пара перчаток?

– Н-н-нет. Не совсем.

– Перчатки на мужчине в кулинарии... они напоминают вам пару других перчаток, может быть, какое-то давнее происшествие? Верно?

– О да. Да.

– И когда случилось то, другое происшествие? Джинджер, о каких других перчатках вы вспоминаете?

– Не знаю.

– Нет, вы знаете. – Пабло встал, подошел к зашторенному окну, окинул ее взглядом, стоя в тени. – Хорошо. Стрелки часов снова движутся. Время движется назад... назад... назад... до того самого момента, когда черные перчатки впервые напугали вас. Вы плывете назад... назад... и вот вы уже там. Вы находитесь точно в том времени, точно в том месте, где вас впервые напугали черные перчатки.

Глаза Джинджер были прикованы к какому-то ужасу в другом времени, не в этой комнате и не в кулинарии Бернстайна, а в каком-то другом месте. Пабло взволнованно наблюдал за ней:

– Где вы, Джинджер? – Ответа не последовало. – Вы должны сказать мне, где находитесь.

– Лицо, – сказала она загнанным голосом, от которого Пабло пробрала дрожь. – Лицо.

Без всякого выражения.

– Объясните, Джинджер. Какое лицо? Скажите мне, что вы видите.

– Черные перчатки... темное стеклянное лицо.

– Вы хотите сказать... как у мотоциклиста?

– Перчатки... забрало.

По ее телу от страха прошла судорога.

– Успокойтесь. Расслабьтесь. Вы в безопасности. В безопасности. А теперь, где бы вы ни находились, вы видите человека в шлеме и с забралом? И в черных перчатках?

Запредельный ужас исторг из ее груди монотонное завывание:

– О-о-о-о...

– Джинджер, вы должны успокоиться. Вы спокойны, расслаблены, вам не страшно. Вам ничего не угрожает. – Опасаясь потерять контроль, после чего пришлось бы выводить Джинджер из транса, Пабло быстро подошел к ее креслу, опустился на колени, прикоснулся к руке девушки и нежно ее погладил. – Где вы, Джинджер? Как далеко во времени вы ушли? Где это происходит? Когда это происходит?

– О... у... у-у-у!

С ее губ сорвался душераздирающий крик – эхо прошлого, мучительная реакция на долго подавляемый ужас и отчаяние.

– Вы подчиняетесь мне. Вы в глубоком сне и полностью мне подчиняетесь, Джинджер. Я требую, чтобы вы ответили мне, Джинджер.

По ее телу прошла дрожь, гораздо более сильная, чем прежде.

– Я требую, чтобы вы мне ответили. Где вы, Джинджер?

– Нигде.

– Где вы?

– Меня нет нигде. – Дрожь внезапно прекратилась. Она осела в кресле. Страх растаял на ее лице, которое смягчилось, расслабилось. Тонким, лишенным всяких эмоций голосом она сказала: – Мертва.

– Что вы говорите? Вы не мертвы.

– Мертва, – повторила она.

– Джинджер, вы должны сказать мне, где вы находитесь и как далеко во времени ушли, должны сказать о черных перчатках, о той первой паре черных перчаток, о которых вспомнили, увидев перчатки на руках человека в кулинарном магазине. Вы обязательно должны мне рассказать.

– Мертва.

Пабло, стоявший на коленях рядом с креслом Джинджер, вдруг понял, что у нее очень поверхностное дыхание. Он взял ее руку и поразился, насколько она холодна, сжал запястье в поисках пульса. Слабый. Очень слабый. Приложив в испуге пальцы к ее горлу, он ощутил медленное, слабое сердцебиение.

Чтобы не отвечать на вопросы, Джинджер, казалось, ушла в сон гораздо более глубокий, чем ее гипнотический транс, – может быть, в кому, в забвение – и не могла слышать его тре-

бовательного голоса. Никогда прежде Пабло не сталкивался с такой реакцией. Неужели Джинджер силой воли могла вызвать собственную смерть, чтобы только не отвечать на вопросы? Память блокирует травматические переживания – такое часто встречается; он почитывал журналы по психологии и встречал там рассказы о психологических барьерах на пути к воспоминаниям, но эти барьеры можно было убрать, не убивая субъекта. Безусловно, ни одно воспоминание не могло быть настолько ужасным, чтобы человек предпочел смерть возвращению к случившемуся. Но сейчас, прижимая пальцы к горлу Джинджер, Пабло чувствовал, как пульсации становятся все более слабыми и неравномерными.

– Джинджер, слушайте меня! – взволнованно сказал он. – Вы не должны мне отвечать. Больше не будет никаких вопросов. Вы можете вернуться. Я не настаиваю на ответах.

Казалось, она нерешительно остановилась на краю какого-то ужасного обрыва.

– Джинджер, слушайте меня! Больше никаких вопросов. Я перестал задавать вопросы. Клянусь вам! – После долгих пугающих колебаний он ощутил незначительное увеличение частоты пульса. – Меня больше не интересуют черные перчатки и ничего вообще, Джинджер. Я хочу вернуть вас в настоящее и вывести из транса. Вы меня слышите? Пожалуйста, услышите меня. Пожалуйста. Я закончил задавать вам вопросы.

Частота пульса резко увеличилась, потом сердцебиение стабилизировалось. Дыхание тоже стало нормальным. Услышав успокаивающий голос Пабло, она быстро вернулась в нормальное состояние. Ее щеки снова порозовели.

Менее чем через минуту он вернул ее в 24 декабря и вывел из транса.

Она моргнула:

– Ничего не получилось? Вам не удалось меня загипнотизировать.

– Вы были под гипнозом, – сказал он дрожащим голосом. – Под очень глубоким гипнозом.

– Вы дрожите, Пабло, почему вы дрожите? Что пошло не так? Что случилось?

На этот раз она сама пошла на кухню и налила им обоим бренди.

Позднее, у дверей квартиры Пабло, выходя к такси, которое он вызвал для нее, Джинджер сказала ему:

– Не представляю, что это могло быть. Ничего настолько ужасного со мной никогда не случилось, я уверена. Ничего настолько плохого, чтобы я предпочла умереть, лишь бы не раскрывать этого.

– В вашем прошлом есть что-то очень травматичное, – сказал Пабло. – Происшествие, в котором участвовал человек в черных перчатках и с «темным стеклянным лицом», по вашим словам. Возможно, похожий на него мужчина вызвал у вас панику на Стейт-стрит. Это происшествие скрыто в вас очень глубоко... и вы, кажется, любой ценой хотите сохранить его в тайне. Я и в самом деле думаю, что вы должны рассказать доктору Гудхаузену о случившемся сегодня и позволить ему действовать, исходя из этого.

– Гудхаузен слишком традиционен, слишком нетороплив. Мне нужна ваша помощь.

– Я не пойду на такой риск – снова вводить вас в транс и задавать вопросы.

– Если только во время своих исследований вы не встретите похожего случая.

– Не стоит на это рассчитывать. За пятьдесят лет я прочел немало книг по психологии и гипнозу и никогда не сталкивался ни с чем подобным.

– Но вы поищите, правда? Вы обещали.

– Посмотрим, удастся ли что-нибудь найти, – сказал он.

– И если вы обнаружите, что есть действенный метод преодоления такой вот блокировки памяти, вы опробуете его на мне.

Джинджер была озадачена, но зато ее беспокойство уменьшилось – она волновалась сильнее, когда входила в квартиру Пабло Джексона. По крайней мере, все сдвинулось с мертвой

точки, хотя пока не было понятно, в каком направлении. Они обнаружили проблему, таинственный травматичный опыт, и хотя не узнали никаких подробностей, но поняли, что опыт имел место: темная форма, ожидающая исследования. Со временем они найдут способ пролить на нее свет, и, когда проблема обнаружится, Джинджер поймет причину своих фуг.

– Расскажите все доктору Гудхаузену, – повторил Пабло.

– Все свои надежды я возлагаю на вас.

– Вы чертовски упрямая, – сказал старый иллюзионист, покачав головой.

– Нет, просто настойчивая.

– Своевольная.

– Просто решительная.

– *Acharnement!*<sup>19</sup>

– Я вернусь в «Бейвотч» и посмотрю, что значит это словечко. Если это оскорбление, то вы пожалеете, когда я вернусь в четверг, – поддразнила она его.

– Не в четверг, – сказал он. – На исследование уйдет больше времени. Я не буду вас гипнотизировать, пока не найду информацию о похожем случае, не отыщу чужие методики и не удостоверюсь, что они успешны.

– Ладно, но если вы не позвоните в пятницу или субботу, я, вероятно, приеду снова и ворвусь к вам. Помните, вы – моя последняя надежда.

– Я ваша последняя надежда... за неимением лучшего.

– Вы недооцениваете себя, Пабло Джексон. – Она поцеловала его в обе щеки. – Буду ждать вашего звонка.

– *Au revoir.*

– Шалом.

Садясь в такси, она вспомнила один из любимых афоризмов отца, который, словно свинцовый груз, потянул ее на дно, сводя на нет новообетенную плавучесть: «Перед наступлением темноты всегда особенно светло».

### 3

## *Чикаго, Иллинойс*

Уинтон Толк – высокий жизнерадостный чернокожий патрульный – вышел из полицейской машины, чтобы купить три гамбургера и колу в угловом сэндвич-баре, оставив Пола Армса, своего напарника, за рулем, а отца Брендана Кронина – на заднем сиденье. Брендан посмотрел на магазин, но не увидел, что делается внутри, – большие витрины были разрисованы праздничными изображениями: Санта, олень, венки, ангелы. Только что пошел легкий снежок, а между тем к полуночи обещали семь дюймов осадков, что сулило снежное Рождество.

Когда Уинтон вышел из машины, Брендан подался вперед и обратился к Полу Армсу:

– Ну вот, все хвалят «Иду своим путем», а что тогда говорить про «Эту прекрасную жизнь»? Чудесная ведь картина!

– Джимми Стюарт и Донна Рид, – сказал Пол.

– Какой актерский состав!

Они говорили о великих рождественских фильмах, и теперь Брендан не сомневался, что вспомнил лучший из лучших:

– Лайонел Бэрримор играл скрягу. И Глория Грэм там снималась.

---

<sup>19</sup> Здесь: упрямый характер (*фр.*).

– Томас Митчелл, – сказал Пол Армс, а Уинтон в этот момент подошел к дверям магазина. – Уорд Бонд, какой состав! – (Уинтон вошел внутрь.) – Но вы забываете другой великий фильм, «Чудо на Тридцать четвертой улице».

– Да, это нечто, но все же, я думаю, Капра лучше...

Казалось, что выстрелы и страшный звук бьющегося, разлетающегося стекла раздались одновременно, что между ними не прошло и доли секунды. Даже в машине, при шумном вентиляторе, гнавшем теплый воздух, и треске и верещании полицейской рации, выстрелы прозвучали достаточно громко, так что Брендан не закончил фразу. Когда эти звуки прогнали рождественское спокойствие с Аптаун-стрит, разрисованное стекло сэндвич-бара взорвалось искрящимися брызгами. На эхо первых выстрелов наложились звуки новых, сопровождаясь нервной атональной музыкой: стекло посыпалось на крышу, капот и багажник патрульной машины.

– О черт! – Пол Армс выхватил пистолет и распахнул дверь, хотя стекло еще продолжало сыпаться. – Оставайтесь здесь! – крикнул он Брендану и побежал, пригнувшись, вокруг машины, служившей ему прикрытием.

Ошарашенный Брендан смотрел в окно. Дверь сэндвич-бара резко распахнулась, в проеме появились два молодых человека, один черный, другой белый. На черном были вязаная шапочка и длинный морской бушлат, в руке он держал полуавтоматический дробовик-обрез. Белый, в клетчатой охотничьей куртке, держал револьвер. Они выскочили поспешно, полупригнувшись; черный направил дробовик в сторону полицейской машины.

Брендан смотрел прямо в дуло. Сверкнула вспышка, и он был уверен, что стреляли в него, но заднее пассажирское стекло перед его лицом осталось нетронутым, а вот лобовое разбилось вдребезги; осколки и свинцовые шарики просыпались на сиденье, замолотили по приборной панели. Брендан, едва не задетый, вышел из оцепенения и скатился с сиденья на пол, сердце его стучало так же громко, как и звуки выстрелов.

Уинтону Толку не повезло – он вошел, ничего не подозревая, в магазин, когда происходило вооруженное ограбление. Вероятно, его убили.

Прижимаясь к полу патрульной машины, Брендан услышал громкий голос Пола Армса: – Бросай оружие!

Прозвучали два выстрела. Не из дробовика. Револьверные. Но кто нажал на спусковой крючок? Пол Армс или парень в клетчатой куртке?

Еще один выстрел. Вопль.

Но кто ранен? Армс или один из грабителей?

Брендан хотел посмотреть, но боялся высунуться.

Отец Вайкезик договорился с местным капитаном полиции, и Брендан в течение пяти дней ездил с Уинтоном и Полом как наблюдатель, в обычном костюме, галстук и пальто, выдавая себя за светского консультанта. Церковь якобы наняла его для изучения потребности в программе помощи нуждающимся – легенда, которая вроде бы устроила всех. Участок Уинтона и Пола находился на окраине города, ограниченный Фостер-авеню на севере, высотками на Лейк-Шор-драйв на востоке, Ирвинг-Парк-роуд на юге, Норт-Эшланд-авеню на западе. Это был самый бедный и криминальный район Чикаго, где жили чернокожие и индейцы, но в основном – апалачи и латиноамериканцы. Проведя пять дней с Уинтоном и Полом, Брендан проникся симпатией к ним обоим и сочувствием ко всем честным душам, которые жили и работали в этих разваливающихся домах и на грязных улицах, становясь жертвами стай шакалов в человеческом обличье. Он научился ожидать чего угодно, когда ехал с этими парнями, но пока стрельба в сэндвич-баре была худшим из всего, что случилось на его глазах.

Еще один выстрел из дробовика. Машина сотряслась.

Лежа в позе зародыша, Брендан пытался молиться, но никакие слова не лезли в голову. Бог все еще оставался потерянным для него, и Брендан изнывал от страха, будучи ужасно одинок.

Снаружи донесся крик Пола Армса:

– Сдавайся!

– Пошел ты! – ответил стрелок.

Когда Брендан явился к отцу Вайкезику после недельной работы в больнице Святого Иосифа, тот отправил его в другую больницу. Брендана прикрепили к палате умирающих: жуткое место, и ни одного ребенка. Как и в больнице Святого Иосифа, Брендан быстро понял, какой урок хотел преподать ему Стефан Вайкезик. Для большинства из тех, кто был в конце жизни, смерть была не страшна, а желанна, благословением, за которое они благодарили Бога, а не проклинали Его. И, умирая, многие из тех, кто никогда не был верующим, становились верующими, а те, кто утратил веру, вновь обретали ее. Часто в страданиях, сопровождавших уход человека из этого мира, было что-то благородное и глубоко трогательное, как будто каждый из них на какое-то время разделял мистическое бремя Креста. Брендан выучил урок, но так и не смог вернуть себе веру. Теперь сумасшедшее биение сердца разбивало в прах слова молитвы, прежде чем он успевал их произнести, а его рот был совершенно сухим.

Снаружи доносились крики, но он больше не различал слов – то ли кричали неразборчиво, то ли стрельба частично оглушила его.

Он пока не до конца понимал, какой урок надеялся преподать отец Вайкезик, посылая его на чикагские окраины в процессе своей необычной терапии. И теперь, вслушиваясь в хаос снаружи, он знал, что урока, каким бы ни был его характер, недостаточно, что бог не сделается для него таким же реальным, как и пули. Смерть была кровавой, вонючей, грязной реальностью, и перед ее лицом обещание загробной награды выглядело неубедительно.

Снова раздался выстрел дробовика, за ним последовали грохот полицейского пистолета, крики и топанье бегущих ног. Похоже, там разворачивалась настоящая война. Еще один выстрел полицейских. Новые брызги осколков. Еще один вопль, ужаснее того, что разорвал воздух в прошлый раз. Но вот еще один выстрел. И тишина. Полная, глубокая тишина.

Распахнулась водительская дверца.

Брендан вскрикнул от удивления и испуга.

– Лежите! – сказал Пол Армс с переднего сиденья, тоже стараясь не высовываться. – Двое убитых, но внутри могут быть и другие говнюки.

– А где Уинтон? – спросил Брендан.

Пол не ответил. Он поднес микрофон ко рту, вызвал Центральную:

– Полицейский ранен. Полицейский ранен!

Армс назвал место и адрес сэндвич-бара, попросил поддержки.

Брендан закрыл глаза и с душераздирающей ясностью увидел фотографии Рейнеллы, жены Уинтона, и троих детишек: тот носил их в бумажнике и гордо демонстрировал, когда его просили.

– Долбаные ублюдки, – сказал Пол Армс дрожащим голосом.

Брендан услышал тихие щелчки и скрежет, которые озадачили его. Наконец он понял, что Армс перезаряжает пистолет.

– Уинтон ранен? – спросил он.

– Нет сомнений, – сказал Армс.

– Может, ему нужна помощь?

– Уже едут.

– А если ему нужна помощь немедленно? – спросил Брендан.

– Не могу туда войти. Вдруг там еще один. Или два. Кто знает. Нужно дождаться поддержки.

– Может, Уинтону нужно остановить кровь... может, ему нужна другая срочная помощь. Он может умереть, пока подоспеет поддержка.

– Думаете, я не знаю?! – горько, яростно выкрикнул Пол Армс.

Он закончил заряжать револьвер, выскочил из машины и занял позицию, из которой мог наблюдать за дверью магазина.

Чем дальше Брендан думал об Уинтоне Толке, распростертом на полу, тем больше распалялся от гнева. Если бы он все еще верил в бога, то смирил бы свой гнев молитвой. Но теперь гнев жил сам по себе и грозил превратиться в раскаленную ярость. Сердце Брендана билось еще сильнее, чем когда он слышал стрельбу из дробовика по машине в считанных дюймах от себя. Размышления о несправедливости – неправильности, неверности – судьбы Уинтона разъедали его, словно кислота.

Он выскочил из машины и бросился под падающим снегом к двери сэндвич-бара.

– Брендан! – прокричал Пол Армс с другой стороны полицейской машины. – Остановитесь! Бога ради!

Но Брендан бежал не останавливаясь, подстегиваемый гневом и мыслью о том, что Уинтон Толк, возможно, нуждается в немедленной, неотложной помощи, чтобы выжить.

Мертвец в клетчатой охотничьей куртке лежал лицом вверх на тротуаре. Одна пуля из револьвера Армса попала ему в грудь, вторая – в горло. До Брендана доносилась вонь – последствия непровольного опорожнения кишечника. В снегу рядом с трупом лежал дробовик, может быть тот самый, из которого стреляли в Уинтона Толка.

– Кронин! – завопил Пол Армс. – Какого хрена? Возвращайтесь, идиот!

Пробегая мимо разбитой витрины, Брендан увидел, что внутри магазина удивительно темно. То ли пули перебили провода, то ли электричество выключили специально; свет серого дня проникал внутрь всего на несколько футов. Он не увидел там никого, но это не означало, что входить в магазин безопасно.

– Кронин! – прокричал Пол Армс.

Брендан добежал до входа, где обнаружил чернокожего парня в бушлате. Этого поразил выстрел из дробовика, который разбил и стеклянную дверь. Он лежал скрючившись среди тысячи ярких осколков.

Брендан перешагнул через тело и вошел в сэндвич-бар. На нем не было жесткого воротника-колоратки, который мог бы послужить чем-то вроде щита. Правда, эти выродки, возможно, убили бы священника с такой же легкостью, с какой убивали полицейских. В костюме с галстуком и в пальто, Брендан был уязвимым, как любой человек, но это его не волновало. Он пребывал в ярости. В ярости оттого, что Бога нет, а если есть, то ему все равно.

В задней части бара находилась стойка, за ней – гриль и другое оборудование. В зале было пять столиков и десять стульев, почти все перевернутые. На полу, залитом кровью, лежали держатели для салфеток, бутылочки с кетчупом и горчицей, несколько долларовых и пятидолларовых купюр – и Уинтон Толк.

Брендан не дал себе труда оглядеть перевернутые столики – не прячется ли за ними стрелок, – а вместо этого подошел к полицейскому и опустился на колени. В Уинтона попали дважды, и оба раза в грудь, но не из дробовика – вероятно, из револьвера второго грабителя. Страшные раны были слишком обширными, чтобы налагать жгут или оказывать другую первую помощь. Одежда на груди пропиталась кровью, изо рта тоже тянулась красная струйка. Вокруг него натекла целая лужа, – казалось, будто он плавает в крови. Он не двигался, глаза были закрыты – либо умер, либо потерял сознание.

– Уинтон? – позвал Брендан.

Тот не ответил. Его веки не дрогнули.

Переполненный той же яростью, что заставила его швырнуть священную чашу о стену во время мессы, Брендан Кронин осторожно поднес обе руки к шее Уинтона Толка, пытаясь

нащупать пульсацию в сонной артерии. Он не обнаружил признаков жизни, и перед его мысленным взором возникли фотографии Рейнеллы и детишек Толка. Теперь его гнев обратился против равнодушного мироздания.

– Он не может умереть, – сердито проговорил Брендан. – Не может.

Вдруг он почувствовал нитевидный пульс, слабый, почти несуществующий, поводит руками в поисках подтверждения того, что Толк жив, и нащупал еще более слабое биение, чем первое, призрачное, но такое же прерывистое.

– Он мертв?

Брендан поднял голову и увидел человека, выходящего из-за прилавка, – латиноса в белом переднике, владельца или служащего. Из-за прилавка поднялась женщина, тоже в белом переднике.

Звук далеких сирен приближался.

Под руками Брендана пульсации в шее Уинтона Толка, казалось, стали сильнее и регулярнее, хотя это наверняка было не так. Уинтон потерял слишком много крови и не мог продемонстрировать даже малейших признаков спонтанного восстановления. До прибытия медиков с жизнеобеспечивающим оборудованием жизненно важные функции неминуемо угаснут, и даже специалисты будут не в силах стабилизировать его состояние.

Сирены звучали в двух кварталах, не дальше.

Сквозь разбитое стекло проникали порывы ветра со снегом.

Работники магазина подошли поближе.

Онемевший от потрясения, разгневанный на жестокость капризной судьбы, Брендан провел пальцами по шее Уинтона в направлении ран на груди. Увидев, как кровь сочится между пальцами, он почувствовал, что ярость уступает место чувству полной беспомощности и беспомощности, и заплакал.

Уинтон Толк поперхнулся. Закашлялся. Открыл глаза. Из его груди вырывалось хрипящее дыхание, слабое и влажное. Он издал тихий стон.

Ошеломленный, Брендан снова принялся нащупывать пульс на шее Толка. Пульс был слабым, но явно не таким слабым, как прежде, и вроде бы устойчивым.

Перекрывая вой сирен, такой близкий, что сотрясался воздух, Брендан позвал:

– Уинтон? Уинтон, вы меня слышите?

Полицейский, казалось, не узнал Брендана и даже не понимал, где находится. Он снова закашлялся, поперхнувшись сильнее, чем в прошлый раз.

Брендан быстро приподнял голову Толка на несколько дюймов и повернул на бок, чтобы изо рта выходили кровь и слизь. Дыхание раненого тут же выровнялось, хотя и оставалось шумным, каждый вдох давался ему с трудом. Он все еще пребывал в критическом состоянии, отчаянно нуждался в медицинской помощи, но, по крайней мере, был жив.

Жив.

Невероятно. При такой кровопотере он все еще был жив и держался.

Снаружи смолкли три сирены, одна за другой. Брендан громко позвал Пола Армса. Воодушевленный тем, что Уинтона, может быть, еще удастся спасти, но одновременно паникуя при мысли о том, что медицинская помощь может опоздать на считанные секунды, он посмотрел на служащих магазина и прокричал:

– Бегите! Приведите их сюда. Скажите, что здесь безопасно. Врачей сюда, скорее, черт побери!

Мужчина в фартуке помедлил, потом двинулся к двери.

Уинтон Толк выплюнул окровавленную слизь и стал дышать ровно, без помех. Брендан осторожно опустил голову Уинтона на пол. Дыхание его оставалось неглубоким, затрудненным, но устойчивым.

Снаружи донеслись крики, стук автомобильных дверей, послышался приближающийся топот.

Руки Брендана были в крови Уинтона Толка, он вытер их о свое пальто и тут увидел, что кольца снова появились – впервые за две недели. На обеих ладонях. Два кольца вспухшей воспаленной плоти, приподнявшейся над поверхностью остальной кожи.

Копы и медики вбежали через входную дверь, перешагнув через мертвеца в бушлате, и Брендан быстро освободил для них место. Он отпрянул назад, стукнулся спиной о прилавок и теперь стоял в изнеможении, уставившись на свои руки.

Несколько дней после первого появления колец Брендан пользовался кортизоном, который выписал доктор Хитон в больнице Святого Иосифа, но кольца больше не появлялись, и он перестал наносить лосьон. Он почти забыл о странных отметинах: непонятная диковина, не вызывавшая особой тревоги. Теперь, посмотрев на отметины, он услышал голоса вокруг, неясные и странные:

- Господи Иисусе, кровь!
- Ну, вряд ли жив. Два ранения в грудь.
- Убирайтесь к чертовой матери!
- Плазма!
- Группа крови. Нет! Пойдите... сделаем это в машине.

Брендан наконец посмотрел на людей вокруг Уинтона Толка, оглядел медиков, которые колдовали над раненым, а потом положили его на носилки и понесли прочь из сэндвич-бара.

Он увидел бранящегося полицейского: тот вытаскивал мертвеца из дверей, чтобы медикам легче было вынести носилки с Толком.

Он увидел Пола Армса, идущего рядом с носилками.

Он увидел кровь, в которой только что лежал Толк, – не лужа, а целое озеро.

Он снова посмотрел на свои руки. Кольца исчезли.

## 4

### *Лас-Вегас, Невада*

Техасец в желтых светоотражающих синтетических брюках не попытался бы затащить Д'жоржу Монателлу в постель, если бы знал о ее настроении: кастрировать всякого, кто попадется ей под руку.

Несмотря на то что был полдень 24 декабря, на душе у Д'жоржи было далеко не празднично. Обычно уравновешенная и добродушная, она пребывала в крайне мрачном настроении духа, расхаживая взад и вперед по казино, от бара к столам для блекджека и обратно, разнося напитки игрокам.

Во-первых, она ненавидела свою работу. Работать коктейльной официанткой – не подарок, даже если ты служишь в обычном баре или пабе, но в отельном казино площадью больше футбольного поля это просто убийственно. К концу смены ноги Д'жоржи болели, а щиколотки опухали. Да и время работы никак не оговаривалось. Как заниматься семилетней дочерью, если у тебя нерегламентированный рабочий день?

Она также ненавидела свой костюм: маленькое красное ничто, заметно обнажавшее бедра и грудь, а по размеру меньше купальника. В него был встроен эластичный корсет, чтобы уменьшить талию и подчеркнуть грудь. Если у тебя и без того осиная талия и пышная грудь, как у Д'жоржи, – такая одежда делает тебя чудовищно эротичной.

И еще она ненавидела приставания распорядителей и дежурных администраторов. Может быть, они полагали, что любая девушка, которая расхаживает в такой одежде, будет легкой добычей?

Она не сомневалась, что ее имя в какой-то мере определяло такое отношение к ней. Д'жоржа. Звучит претенциозно. Слишком претенциозно. Ее мать, вероятно, напилась и в припадке креативности придумала такое написание. На слух оно воспринималось нормально, потому что о претенциозном написании никто не знал, но на бейджике было написано «Д'жоржа», и не меньше десятка людей в день отпускали замечания на этот счет. Фривольное написание порождало мысль о том, что носительница имени тоже ведет себя фривольно. Она думала обратиться в суд, чтобы узаконить правильное написание, но это обидело бы ее мать. Впрочем, если мужчины на работе будут и дальше к ней приставать, она может поменять имя на «мать Тереза», что наверняка охладит некоторых сексуально возбужденных уродов.

Отбиваться от боссов было еще не самое худшее. Каждую неделю какой-нибудь хай-роллер – крупная шишка из Детройта, Лос-Анджелеса или Далласа, просадив кучу денег за столиком и положив глаз на Д'жоржу, просил распорядителя свести его с ней. Некоторые из официанток для коктейлей были доступны – не многие, но все же. Но когда распорядитель подходил к Д'жорже, ее ответ был всегда одинаков: «Пошел он к черту. Я официантка, а не шлюха».

Ее отказы, неизменно холодные, не останавливали их, они продолжали давить в надежде, что она уступит. В последний раз это случилось час назад. Прыщеватый, пучеглазый нефтепромышленник из Хьюстона, в фосфоресцирующих желтых брюках и синей рубашке с красным галстуком-ленточкой, которого старались всячески обласкивать, загорелся желанием и стал делать ей авансы. От него пахло буррито, которыми он объелся за ланчем.

Теперь распорядители злились на Д'жоржу за то, что она отказала такому ценному клиенту, за то, что она была «слишком чопорной».

Рейни Тарнеллу, дневному распорядителю зоны блек-джека, хватило наглости выразиться таким образом: «Детка, хватит кобениться!» – словно лечь на спину и раздвинуть ноги перед незнакомцем из Хьюстона было всего лишь проявлением дурного вкуса, вроде ношения белых туфель перед Днем памяти или после Дня труда.

Д'жоржа ненавидела свою работу, но не могла оставить ее. Ни одна другая не приносила бы ей таких доходов. Разведенная, с дочерью на руках, она не получала никаких пособий на ребенка, а чтобы не испортить свою кредитную историю, продолжала оплачивать счета, которые Алан выписал на ее имя, прежде чем уйти, – и потому цену каждого доллара ощущала ох как остро. Жалованье у нее было небольшим, но чаевые давали великолепные, особенно когда один из клиентов начинал крупно выигрывать в карты или кости.

В этот канун Рождества казино было заполнено на одну треть, и чаевые были скромными. Жизнь в Вегасе всегда замирала на День благодарения и Рождество, клиенты не возвращались до 26 декабря. Игральные автоматы приглушенно дребезжали, потрескивали, позвякивали. Многие блек-джековые крупье стояли без дела перед пустыми столами.

«Неудивительно, что у меня дурное настроение, – подумала Д'жоржа. – Натертые ноги, боль в спине, сексуально озабоченный придурок, который считает, что я должна быть так же доступна, как выпивка, ругань с Рейни Тарнеллом, – и за все это никаких чаевых».

Смена закончилась в четыре часа. Д'жоржа поспешила вниз, в раздевалку, нажала на табельные часы, сняла рабочую одежду, надела обычную и выбежала на парковку для сотрудников с такой скоростью, какой позавидовал бы олимпийский чемпион.

Непредсказуемая погода пустыни не создавала праздничного настроения. Зима в Лас-Вегасе порой бывала холодной, с ветрами, которые пробирали до костей, а порой – такой теплой, что люди ходили в шортах и легких топах. В этом году конец декабря выдался теплым.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.